



Патрик Несс

«Просто
прочитайте это».

Джон Грин

Исчезнувшая в облаках

от автора бестселлера «Голос монстра»

Патрик Несс
Исчезнувшая в облаках

«РИПОЛ Классик»

2013

УДК 821.133.1
ББК 84(4Вел)6-44

Несс П.

Исчезнувшая в облаках / П. Несс — «РИПОЛ Классик»,
2013

ISBN 978-5-386-09487-4

История древняя, как мир, несчастный юноша спас чудесного журавля. Птица обернулась прекрасной девушкой и стала его женой. Это история перенесена в наши дни. Джордж – американец, который живет и работает в Лондоне. Ему сорок восемь лет, у него есть свой маленький бизнес, он разведен и несчастен гораздо больше, чем мог себе представить. Однажды ночью Джордж спасает раненого журавля. На следующий день он отправляется на работу, встречает потрясающей красоты женщину и моментально влюбляется. Умная, романтическая, талантливая история, рассказанная одним из лучших писателей современной Англии. Ранее книга выходила под названием «Жена журавля».

УДК 821.133.1
ББК 84(4Вел)6-44

ISBN 978-5-386-09487-4

© Несс П., 2013
© РИПОЛ Классик, 2013

Содержание

Часть I	6
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Патрик Несс

Исчезнувшая в облаках

© Patrick Ness, 2013 © Коваленин Д. В., перевод на русский язык, 2014

© Издание на русском языке, перевод на русский язык. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2014

© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2016

Часть I



Его разбудил сверхъестественный звук – скорбный осколок заледеневшей ночи, упавший с неба и вонзившийся ему в сердце, чтобы застрять там навсегда, недвижно и неразстворимо, – и только сам он, по обыкновению, решил, что все дело в его мочевом пузыре.

Он съжился под одеялом и внутренним чутьем попытался определить, насколько срочным был этот зов. Похоже, и правда срочным. Он вздохнул. Все-таки сорок восемь – еще не тот возраст, чтобы так по-стариковски часто просыпаться ночью по нужде; но без этого, очевидно, заснуть уже не удастся. А если закончить все по-быстрому, можно даже не успеть проснуться окончательно. Ладно. Уже встаю. Уже плетусь через гостиную.

Он ступил босиком на обжигающе ледяной пол в ванной, и у него перехватило дыхание. Обычной батареи здесь не было – только на стенке висела загадочная плоская штука-вина, которую ему никогда не удавалось адекватно кому-либо описать и которая при включенном режиме раскалялась так, что не прикоснуться, но окружающий воздух не нагревала ни на полградуса. Эту проблему он собирался решить еще тогда, когда только поселился здесь сразу после развода, но прошло девять лет, а его босые пятки все так же замерзают на холодном полу всякий раз, как он заходит в собственный туалет.

– Холод собачий, – пробормотал он, плохо ориентируясь в лунном свете и лишь по звуку струи пытаясь определить, попал ли в цель.

Эта зима была странной: она словно противоречила самой себе, словно пыталась бороться сама с собой. Теплые, а порой и ослепительно солнечные дни сменялись ночами, чья стылость лишь усугубляла промозглость самого дома. Огромный город звенел и искрился всего в нескольких метрах от порога, а внутри дома застоялся столетний сырой туман. Его дочь Аманда, заехав сюда в последний раз, даже раздумала снимать пальто и поинтересовалась, не ждет ли он чумной повозки.

Страхнув последние капли, он оторвал клочок туалетной бумаги и аккуратно промахнул остатки влаги – привычка, когда-то вызывавшая у его бывшей жены приступы неопишущей нежности.

– Это как приклеивать ресницы медведю в цирке, – говорила она.

Впрочем, она все равно с ним развелась.

Он выкинул бумагу в унитаз и наклонился, чтобы нажать на слив, и в этот неловкий момент снова услышал странный звук – на сей раз совершенно осознанно.

Так и не дотянувшись до сливного бачка, он окаменел.

Оконце ванной выходило в маленький сад на заднем дворе – зеркальную копию такого же садика по другую сторону дома, – и звук этот доносился явно оттуда, из-за мраморного стекла.

Но что же это, черт побери? Он наскоро перебрал в памяти все мыслимые звуки, какие могли раздаваться по соседству в столь поздний час, но из подобного списка ничего не подходило: это не могло быть ни душераздирающим воем спаривающейся лисицы, ни воплем кота, случайно запертого в гараже (в очередной раз), ни криком ночного воришки – ну, какой же вор способен так истошно визжать?

Он чуть не подскочил на месте, когда странный звук повторился снова – распоров ночную тишину, точно издавало его нечто очень холодное и вряд ли живое.

Наконец-то нужное слово само всплыло в его расшатанном, расщепленном сознании. Больше всего этот звук напоминал *погребальный плач*. Надрывное *стенание* по кому-то или чему-то, от которого – он сам себе поразился – на глаза наворачивались самые настоящие слезы. Оно разрывало ему сердце, словно рухнувшая мечта – бессловесная мольба о помощи, заставшая его врасплох. Ведь помочь он совершенно бессилен, не стоит даже пытаться.

Звук – как он понял потом, вспоминая эту ночь, оставшуюся в его памяти на всю жизнь, – противоречил всякому здравому смыслу. Потому что, когда он нашел эту птицу, она не издавала вообще ни звука.

Он кинулся в спальню и лихорадочно оделся: штаны и куртка на голое тело, ботинки на босу ногу. Логика подсказывала, что стоило бы выглянуть в окно и проверить, откуда исходит странный звук, но от логики он отмахнулся. И доверился инстинкту, который подсказывал, что медлить нельзя, иначе источник этого звука, кем или чем бы он ни был, ускользнет от него, развеется, точно забытая любовь. Нужно действовать быстро, не отвлекаясь на что бы то ни было.

Сбегая вниз по лестнице, он выудил из кармана штанов ключи. Пересек гостиную с кухней, подбежал к двери черного хода и, подбирая нужный ключ, разозлился на то, как громко тот бряцает о замочную скважину. (Какой идиот вообще придумал закрывать входную дверь изнутри на ключ? А если пожар? Так и задохнешься раньше, чем откроешь чертову дверь! Переделать замок он тоже планировал. Глядишь, когда-нибудь руки дойдут... Лет через десять.)

Наконец дверь распахнулась, и он выскочил в морозную ночь, почти не сомневаясь: то, что он ищет, наверняка уже скрылось, напуганное бряцаньем ключей и грохотом чертовой двери. Убежало, улетело, ускользнуло...

Но нет. Вот оно стоит. В *этой* траве *этого* садика на заднем дворе *этого* отдельно взятого дома.

Прекрасная белая птица, высотой с него самого, если не выше, гибкая, как тростинка. *Звездная тростинка*, подумал он.

И тут же спросил себя: *Тростинка из звезд? Откуда это в моей голове, черт возьми?*

Освещенная лишь светом луны в холодном ясном небе, светло-серая тень, возвышающаяся над чернотой лужайки, и только мигающий глаз поблескивает влажным золотом почти вровень с его взглядом. Эта птица была ростом с него, вернее, с того долговязого подростка, которым он был когда-то. Его посетила глупая мысль: а ведь она смотрит на него так, будто вот-вот распахнет свой острый короткий клюв и сообщит ему нечто жизненно важное, что можно узнать лишь во сне и что забудешь, как только проснешься.

Но сном это быть не могло: слишком жестокий холод пробирал его под одеждой, а птица конечно же не издавала ни звука и больше не плакала так надрывно, как могла плакать лишь она и никто другой.

Это зрелище потрясало. Не только тем, что было неожиданно и неуместно для лондонской окраины, знаменитой своей безликостью – все рожденные здесь художники неизменно съезжали куда подальше. Но даже в зоопарке – и даже человеку, который ничего не смыслит в орнитологии, – *эта* птица сразу бросилась бы в глаза. Поразительная в этой тьме белизна ее груди и шеи казалась частью изморози, покрывшей траву. Белизна эта будто стекала на крылья, одно из которых – то, что ближе к нему, – простиралось почти до самой земли.

Черные треугольнички темнели по обеим сторонам у основания клюва, а красная шапочка на макушке, различимая даже во мраке, напоминала воинский знак отличия какой-то неведомой страны. Взгляд у птицы был твердым и повелевающим. Она понимала, что он здесь, смотрела на него в упор, но не улетала и не выказывала ни страха, ни тревоги.

Если она чего и боялась, то уж явно не его самого.

Он покачал головой. Все эти домыслы не имели смысла. Жестокий холод совсем не помогал проснуться, а, напротив, лишь добавлял сонливости, и он вдруг подумал, что вот так, наверное, люди и замерзают до смерти в метель – впадая в летаргию и ощущая тепло вопреки реальности. Он потер руки, но тут же замер, боясь спугнуть птицу.

Та не улетала.

Цапля? – подумал он. *Аист?* Но эта красавица совсем не похожа на сизых согбенных пернатых, что иногда прошмыгивают туда-сюда, точно старые немые бродяги в закоулках столичного пригорода!

Затем, второй раз за вечер, дар речи вернулся к нему. Кто знает, был ли он прав, кто вообще теперь что-либо знает обо всем этом – какие слова следует говорить птицам, какие слова в принципе следует говорить; да и кому придет в голову вспоминать о правильных словах в том возрасте, когда любое знание уходит в туман и забывается, как забывается даже то, что нужно помнить. Но имя ее само пришло к нему в голову, и не важно, откуда и насколько точное – оно было *в самый раз*. Он знал это – и, позвав ее, понял, что не ошибся.

– Журавушка, – мягко сказал он. – Ты – Журавушка...

Птица повернулась всем телом, будто откликаясь на зов и по-прежнему глядя ему в глаза, и он увидел, что второе крыло ее вовсе не распускалось до самой земли подобно первому. Оно нелепо торчало вбок. Навылет пронзенное стрелой.

– О, черт, – прошептал он, и слова сорвались с его губ бесполезным облачком пара. – О, нет...

Стрела была длинной, невероятно длинной, никак не меньше четырех футов, и чем дольше он смотрел на нее, тем отчетливей понимал, что это – ужасающе *добротная* стрела, с жестким тройным опереньем на одном конце и широким, в два пальца, сияющим наконечником – на другом. В ней также ощущалось нечто до странности древнее, словно ее изготовили из какого-то по-настоящему дорогого дерева; она выглядела вовсе не как игрушка из легкой бальсы, бамбука или из чего там еще делают палочки для еды и уж куда серьезнее декоративных прутиков, какими атлеты малых народностей разжигают олимпийский огонь.

Эта стрела была создана для убийства. Убийства людей в том числе. Эта стрела была из тех, над которыми средневековые лучники молили Господа о благословении, дабы поразить неверных язычников в самое сердце. Вглядевшись внимательней, он также различил у ног птицы темное пятно крови, стекавшей с наконечника на заиндевелую траву.

Кто же мог выпустить такую стрелу в наши дни? *Откуда?* И, боже правый, *зачем?*

Он двинулся птице на помощь, не представляя, что именно сможет сделать, и зная наверняка, что помочь не сумеет, но, пораженный тем, что Журавушка даже не попятилась от него, остановился. И, выждав еще немного, обратился к ней напрямую.

– Откуда ты здесь? – спросил он. – Заблудилась?

Птица молчала. Он снова вспомнил ее зауспокойный стон, все еще отдававшийся скорбным эхом в его груди, хотя сама она теперь не издавала ни звука. Вокруг царила гробовая тишина. Казалось, они оба находятся в каком-то сне, хотя жуткий холод утверждал обратное, проникая сквозь подошвы его ботинок и покусывая кончики пальцев на руках, а неизбежная шальная капля, как он ни старался это предотвратить, все-таки просочилась в промежность штанов – ведь трусов на нем не было, – напомнив о несомненной реальности происходящего со всеми ее разочарованиями.

О нет, это был не сон, но хождение по грани реального, одно из тех редких переживаний, о которых он будет помнить всю оставшуюся жизнь и в которых весь мир ужимался до него одного и застывал на пару минут для того, чтобы он почувствовал себя *снова живым*. Примерно так же он ощущал себя, когда терял девственность с одноклассницей – отличницей по английскому, страдавшей экземой, – и все было так мимолетно и так насыщено, что казалось, будто их обоих вынесло из нормального бытия и физически растворило во времени. Или в тот раз, на каникулах в Новой Каледонии, когда он вынырнул на поверхность океана – в маске, с трубкой – и за какие-то несколько секунд успел разглядеть между накачиваемыми волнами лодку, с которой спрыгнули другие дайверы, и услышать голос жены, которая в ярости заорала: «Вот он!» – и его всосало обратно в реальность. Или рождение его дочери, пыхтящей красной галделки, которая в первую же ночь после рождения (когда его измученную жену сразил сон и они остались наедине – он и это крошечное созданыще) открыла глаза и уставилась на него, изумленная увиденным, тем, что обнаружила в этом *себя*, а также, возможно, и *слегка оскорбленная* – состояние, из которого Аманда так и не вышла за все эти годы.

Этот же момент – именно здесь и сейчас – был не просто подобен уже перечисленным, но и во многом превосходил их. Смертельно раненная птица и он – в замерзшем садике на заднем дворе, словно в границах единственной вселенной, которую он знает. В таких-то местах порой и ощущаешь вечность...

Пока он смотрел, Журавушка сделала шаг, один шажок в сторону – и споткнулась.

Он бросился вперед, чтобы подхватить ее, и вот она уже у него в руках – на удивление тяжелое тело и длинная шея (совсем как у лебедя, но и совсем другая), неповрежденное крыло хлопает по боку.

А запах! От нее разит паникой и дерьмом. Кровью и страхом. Невозможностью полета, заставляющего работать каждый атом любой птицы. Именно запах сильнее всего остального

убедил его, что это не сон. При всей боязни причинить птице боль, при всей суматохе – ее хлопающие крылья, разлетающиеся перья и взбесившийся клюв, который запросто мог пройтись ему грудь до самого сердца, – он осознавал, что его мозг, пускай и весьма одаренный, просто не в состоянии смоделировать букет запахов такой сложности и такой насыщенности самыми разными специями.

– Ну, тише, тише... Успокойся... – приговаривал он, пока птица билась в его руках, слишком поздно осознавая, что угодила в лапы, скорее всего, какого-то хищника.

Ее клюв вонзился ему в щеку, потекла кровь.

– Ч-черт! – воскликнул он. – Я же пытаюсь тебе помочь!

Отведя шею назад, птица уперлась головою в небо и распахнула клюв, словно для ответа. Но ничего не ответила. Лишь выдохнула на луну, будто выпуская ее из себя. И вдруг навалилась всем телом ему на грудь – длинная шея упала вниз, точно рука балерины, принимающей аплодисменты, и легла на его плечо, а голова опустилась ему на спину. И лишь по тому, как вздымалась ее узкая грудь, он понял, что птица еще жива, просто в изнеможении уступила его объятиям, и что готова отдать ему жизнь, если это потребуется.

– Не умирай! – торопливо прошептал он. – Пожалуйста, не умирай.

Он опустился в траву – колени вмиг намокли от инея – и, одной рукой придерживая птицу, другой попытался расправить крыло с застрявшей в нем стрелой.

Почти все птичье крыло составляют перья; мышечная плоть – та, что воплощает обыкновенное чудо полета, – заключена целиком в длинном узком тяжеле, от которого перья и разбегаются, точно брызги. Стрела, пронзив сухожилие снизу, перебила множество перьев, но главное – изувечила столько мышц, что надежды на исцеление почти не оставалось.

Нужно позвать кого-нибудь, подумал он, того, кто в миллионы раз лучше него разбирается во всем этом и сможет *реально* помочь. Но кого? Специалиста из Королевского общества защиты птиц? Ветеринара? В этот час ночи? И что они сделают? Велят оставить ее в покое? Журавля с такой раной?

– Нет, – прошептал он почти бессознательно. – О, нет... – И уже громче добавил: – Я помогу тебе! Я попробую. Но ты должна вести себя смирно, поняла?

Он поймал себя на том, что, как последний глупец, ожидает от птицы ответа. Но все, что она могла, сводилось лишь к отчаянному дыханию, которое он чувствовал шеей. Нужно вынуть стрелу; он понятия не имел, как это следует делать, но руки его уже сами разворачивали раненое крыло.

– Ну, что ж, – пробормотал он. И повторил: – Ну, что ж...

Он отнял ее от груди и, едва удерживая увесистое тело на вытянутой руке, неуклюже стянул с себя куртку. Затем свободной рукой расправил дешевую ткань на заиндевелой траве, уложил на нее птицу и укутал здоровое крыло, чтобы не мешало. Покорность, с которой Журавушка подчинялась ему, пугала, но он все еще видел, что она дышит: ее грудь вздымалась и опадала куда чаще, чем следовало, но, по крайней мере, не замирала.

Голый по пояс, он стоял на коленях в мерзлой траве – ясной ночью на морозе, который мог бы запросто убить его, останься он здесь подольше. Его руки работали так быстро, как только могли, над крылом, простертым над землей. До сих пор – как, вероятно, и кто угодно на этом свете – раны от стрел он видел разве что в кино. Кажется, там ломали стрелу и вынимали обломок с обратной стороны. Следует ли ему поступить так же?

– Ладно, – прошептал он, ухватился за древко и медленно отпустил крыло так, чтобы его удерживала в воздухе только стрела, зажатая в обеих его руках, и более ничего.

Эта стрела буквально обжигала его пальцы, задеревеневшие на морозе. Древко оказалось на удивление легким – каким ему, впрочем, и полагалось быть, – но очень крепким. Он ощупал каждый дюйм, пытаясь найти более тонкое место, но не нашел – и отчетливо

понял, что ему не удастся сломать стрелу сразу, одним нажатием, и что придется пробовать несколько раз, причиняя пернатой бедняге невыносимую боль.

– О, нет, – пробормотал он снова, чувствуя, как его бьет озноб. – Ч-черт...

Он глянул вниз. Золотистый глаз птицы следил за ним не мигая, а длинная шея изгибалась на расстеленной куртке, точно вопросительный знак.

Решения не приходило. Слишком холодно. Он слишком замерз. А стрела была слишком толстой и крепкой. Все равно что из железа. Журавушка умирала. Эта *звездная тростиночка* испускала последние вздохи прямо здесь, в грустном садике на заднем дворе его дома.

Он проиграл – осознание поражения накатило на него внезапной волной. Неужели больше ничего нельзя сделать? Он обернулся к двери в кухню – все еще открытой, выпускавшей из дома последние остатки скудного тепла. Получится ли забрать птицу в дом? Удастся ли поднять и перенести ее так, чтоб не поранить еще сильнее?

Журавушка же, казалось, больше и не надеялась на него, словно уже вынесла приговор, который ему выносили многие – приятный мужчина, только чего-то в нем не хватает, некой изюминки, ради которой стоило бы тратить на него время, нервы и силы. Ошибка, которую женщины совершают довольно часто. Женщин-друзей, включая бывшую жену, у него было больше, чем у любого мужика-натурала из всех, кого он знал. Беда была в том, что каждая из этих женщин начинала с ним как любовница – и лишь со временем понимала: он слишком мил, чтобы воспринимать его всерьез. «Ты тянешь процентов на шестьдесят пять, – сказала ему жена, уходя. – А мне нужно минимум семьдесят». Вся трагедия, похоже, была в том, что семьдесят – минимум для *любой* женщины.

Вот и для этой Журавушки, кажется, минимум – никак не меньше семидесяти. Она совершила ту же ошибку, что и все остальные женщины, увидев мужчину в том, кто на деле оказался всего лишь *своим парнем*.

– Прости меня, – сказал он птице сквозь слезы. – Мне очень жаль...

Но вдруг стрела подалась. Возможно, сама же птица в непроизвольной конвульсии дернула крылом. Стрела будто сама скользнула в его пальцах... И остановилась.

Он что-то нащупал. Да, точно – трещина. Он пригляделся. Почти незаметная в тусклом свете, но очевидная трещина, достаточно большая, чтобы ощутить ее даже задубевшими пальцами. Древко расщеплено вдоль – несомненно, мощными усилиями птичьего крыла. Он даже почувствовал, что концы стрелы смотрят в стороны под разными углами.

Он снова взглянул на птицу. Она смотрела на него, думая бог знает о чем.

Случайность, подумал он. Не сама же птица подсказала его пальцам, где трещина!

Но, с другой стороны, не по своей же воле она, с перебитым стрелою крылом, приземлилась в его садике...

– Попробуем, – сказал он.

И перехватил стрелу ближе к ране. А другой рукой стиснул древко по ту сторону трещины. Холод пробирал до костей так неистово, что саднило руки. Вот, теперь. Теперь или никогда.

– Пожалуйста, – прошептал он. – Ну, давай же...

И разломил стрелу.

* * *

Резкий звук вспорол морозный воздух – но вовсе не треск ломающегося дерева, а скорее хлопанье флага на ураганном ветру. Птица вскочила на ноги и расправила крылья во всю ширь; отпрянув от неожиданности, он поскользнулся и упал на цементный бордюр у края лужайки. Защищая себя от падения, он едва успел выставить руку, выронив половину стрелы

с наконечником, от которого резко пахло птичьей кровью. Другая половина дровка улетела куда-то в темноту. Позже он не смог отыскать ни того, ни другого обломка и навсегда убедил себя в том, что запах крови оказался слишком дразнящим для какой-нибудь изголодавшейся лисицы и та утащила их к себе в нору.

Теперь же птица возвышалась над ним, подняв голову к ночному небу, и чуть слышно курлыкала на луну. Ее крылья распахнулись, и он заметил, что их размах превосходит его собственный рост. Затем мощными и плавными, чуть замедленными движениями она сложила их – раздался хлопок, за ним еще один. Кровь из раны все еще сочилась, заливая ее белоснежное оперенье, но работой крыльев она, похоже, осталась довольна.

Вновь распахнув крылья во всю ширь, она застыла. Лишь голова ее с темно-красной шапочкой повернулась к нему, и он поймал на себе немигающий взгляд ее золотистых глаз. На секунду ему показалось, будто она вот-вот наклонится и обнимет его – так, словно он выдержал некое испытание, о котором даже не заподозрил бы, если бы потерпел фиаско.

Затем он поймал себя на том, что произнес нечто глупое и совершенно бессмысленное.

– Меня, – сказал он, – зовут Джордж.

Он сказал это ей, журавлихе.

Словно в ответ, птица склонила длинную гибкую шею к самой земле, отвела назад крылья и захлопала ими, будто собираясь упасть к нему на грудь. Не успел он отпрянуть, как птица поднялась в воздух, мелькнув ослепительно-белым оперением прямо в каком-то дюйме над его носом. Оглянувшись назад, он увидел, как она круто взмыла вверх, чтобы не врезаться в стену дома, и опустилась ненадолго на конек крыши. Ее застывший силуэт отчетливо проступил на фоне яркой луны.

Затем она снова нагнула голову, взлетела и сделала прощальный круг над садиком, а он, Джордж, все смотрел, как ее тонкие черные ноги тянутся, словно тростинки, вслед за белоснежным телом, как она поднимается все выше, выше, выше, как превращается в одну из бесчисленных звезд ночного неба и, наконец, исчезает совсем.

Он медленно поднялся с замерзшей земли и с тревогой отметил, как по голому торсу растекается боль. Все тело трясло так, что ноги едва держали его. Не хватало еще свалиться здесь в судороге, подумал он. Нужно залезть в горячую ванну, и как можно скорее, вот только где бы взять сил доковылять до двери?

Он чуть не подпрыгнул, когда вновь услышал этот стон. Безутешную погребальную песню, из-за которой он здесь и появился. Она разнеслась в морозном воздухе странным эхом – так, словно сама ночь взывала к нему. Казалось, Журавушка прощается с ним, или благодарит его, или...

И только тут он сообразил: это кричала вовсе не странная птица, исчезнувшая из его сада, из его жизни и, возможно, из этого мира навеки. Этот страшный стон исходил от него самого – слетал с его посиневших от холода губ, исторгался из грудной клетки, в которой все еще билось его безнадежно разбитое сердце.

* * *

– Но здесь написано «Пэтти».

– Да, то же самое и на бланке заказа.

– По-вашему, я похож на Пэтти?

– Но, может, они решили, что это для вашей жены?

– Мою жену зовут Колин.

– Да, тогда Пэтти явно не по адресу...

– Я сам видел, как он это впечатывал! Пи, эй, два ди, уай... Должно было получиться «Пэдди»! А кроме того, я всегда подчеркиваю пальцем буквы, так что уверяю вас, там однозначно было указано «Пэдди»!

– Это то, что указано в бланке заказа.

– Но это совсем не то, что напечатано здесь!

– Может, они посмотрели на эту майку и решили, что раз она такая розовая...

– Они? Кто – они?

– Печатники.

– А у вас что, не печатники?

– У нас не такие. Мы печатаем флаерсы, плакаты с дизайном типа...

– То есть вы сами печатью не занимаетесь?

– Ну я же говорю, у нас все больше флаерсы...

– Но вы беретесь за печать и на спортивных майках?

– И на футболках, да.

– А в чем разница?

– Ну, мы же продаем не только майки с тонкими лямками. Футболки вот тоже. Все эти мальчишники, девичники, ну вы понимаете...

– И у вас они расходятся хорошо?

– Да, неплохо.

– Особенно если кто-то хочет впечатать в вашу форму на футболке какую-то свою надпись?

– Да.

– Значит, если я вижу, что какой-то мужик куда постарше вас – то есть совсем взрослый дядя – впечатал на свою будущую майку Пи, Эй, два Ди, Уай...

– Это значит, заказ был передан специальной типографии.

– Но они его не выполнили?

– Если верить вам – да, но в заказе определенно значилось «Пэтти»...

– Я ЧТО, ПО-ВАШЕМУ, ВЫГЛЯЖУ КАК ПЭТТИ?!

– Не нужно кричать. Мы ведь просто пытаемся решить проблему, два разумных человека...

– При этом никого из нас не зовут Пэтти!

– Я сам из Турции. У нас там не бывает ни Пэдди, ни Пэтти. Так откуда мне знать? Я же говорю, скорее всего, они просто увидели цвет этой майки...

– Это цвет нашей благотворительной компании. Мы с таким цветом выступаем против рака груди. Розовый. Потому что рак груди убивает женщин. Большинство взносов делают женщины, но попадаются и мужчины. Мы проводим кампанию, собираем деньги. Такой у нас цвет. С полом того, кто наденет майку, это никак не связано. Разве у маек есть пол?

– Я бы сказал, что да. Это написано прямо на бирке. Мужской – сверхбольшой. Экстра! Ладж! Эй, что, меня на видео снимают? Ах, вот вы что устроили? Так вот он, кто это всё...

– Эй! Как дела, Мехмет?

– Клиент недоволен выполненным заказом, мистер Дункан.

– Я что, по-вашему, похож на Пэтти?!

– Ну, я не знаю вас настолько близко, чтобы судить, но, по-моему, нет.

– А почему тогда здесь написано...

– Это явно чья-то ошибка. Я отлично помню, что впечатывали два Ди.

– Вот спасибо!

– Мы все исправим уже к утру.

– У меня забег в воскресенье!

– А завтра только пятница. Мы все успеем.

- Я просто подчеркиваю, что на очередные ошибки нет времени.
- Не беспокойтесь. Больше никаких ошибок. Лично вам гарантирую.
- Вы слышите? Джордж Дункан лично гарантирует!
- Что вы имеете в виду?
- Я лично буду здесь завтра, Пэдди, я обещаю. И если понадобится поехать для этого в Сент-Ив...
- У вас что, типография в Сент-Иве?!
- Если понадобится, я поеду в Сент-Ив и заберу их лично.
- Но это двенадцать часов туда и обратно!
- А вы туда ездили? Я слышал, шоссе А-30 как раз для этого, если вы...
- В общем... До завтра, прошу вас. Надеюсь, я внятно говорю.
- Даю вам слово.
- ...
- Тяжелый чувак попался.
- Перестань задирать клиентов, Мехмет. Тут рецессия на носу.
- Ну что ж, еще один повод задуматься. С рецессией на носу, Пэтти, ошибка в написании твоего имени конечно же приведет к такому...
- Что я тебе повторяю? Береги клиента! Я ввожу это правило вовсе не для того, чтобы тебя наказывать.
- Но это именно то, что они установили по всей Америке, Джордж. «Могу я чем-то помочь вам, сэр?» «Как вам это идет, сэр!» «Еще чаю со льдом, сэр?»
- Значит, ты еще не был в настоящей Америке.
- Ну, телевизор... та же фигня.
- Давай-ка позвони в Сент-Ив и скажи, что у нас срочная коррекция. А заодно спроси, куда подевались футболки с блядками для Брукмана. Парни ночью уезжают в Ригу и должны заглянуть к нам буквально через...
- Для Брукмана?
- Что ты так смотришь, Мехмет? Не нравится мне твой взгляд. Скажи-ка...
- Ребята от Брукмана уже уехали. Они заглядывали сюда днем, когда ты ушел на обед.
- О, нет! Нет-нет-нет! Я же проверял тот заказ и все их пожелания, когда они приходили...
- Ну да, те маечки с ляжками и голубыми кисками на пузе.
- А! Это же был мальчишник О'Райли! Какого хрена там делают голубые киски?! Они ведь еще сами говорили – гулянки по-тяжелому...
- У нас нет мальчишников в Турции. Откуда мне знать разницу?
- Но вы же втроем переехали сюда!
- Да ладно, и что с того? Они придут сюда в задницу пьяные, кто вообще что-нибудь заметит?
- Знаешь, если солдаты из Колдстримской гвардии Ее Величества заметят, что над их яйцами почему-то болтаются голубые картонные киски...
- Лапки.
- Что?
- Не сами киски, а их лапки. Зачем? Чтобы ублажать, понятное дело. Разве не это – главная задача любого мальчишника?
- ...
- Что?
- Позвони Брукману, Мехмет. Он-то уж точно еще не открывал ящик с подарками на мальчишник.
- Да, он, похоже, очень торопился. Даже не взглянул на то, что ему подарили.

- Что ты ржешь?
- Я не ржу.
- Ржешь. Ты специально ему это подстроил!
- Да иди ты!
- Мехмет!
- Я у тебя во всем виноват! Ты прямо расист какой-то!
- Звони ему. Прямо сейчас.
- Почему я должен выполнять всю грязную работу? Ты слоняешься без дела и любишь своей драгоценной фигней! Вот, что это ты опять притащил?
- Где?
- Вон там, что это ты прячешь за спиной всю дорогу?
- Это? Да так, ерунда. Это...
- Гусь?
- Это не гусь. Это журавль.
- Журавль?
- Журавль.
- Это как колодцы в деревнях? Видишь ли, Джордж, я должен тебе открыть одну истину...
- Ну. Давай. Колись-колись-колись...
- Сейчас. Боже! Дело в том, что рабство отменили две сотни лет назад, если помнишь.
- Помню. Это сделал Уильям Уилберфорс.
- И ты еще удивляешься, почему тобой не интересуются девчонки? По-моему, их не особо интересует Уильям Уилберфорс. Я, конечно, не знаю, но...
- У меня нет проблем с девчонками, Мехмет.
- Что, даже с последней? С той безымянной, которую никто так и не увидел? Она жила в Канаде, правда, Джордж? И звали ее Альберта?
- Даже не знаю, о чем ты говоришь, Мехмет.
- Не ломай комедию. И не делай вид, что я говорю с тобой на иностранном языке. А то мне опять покажется, что я пришел на прослушивание...
- Ладно, что угодно, только соберись и позвони куда нужно. И не вздумай перед этим сидеть в твиттере битых полчаса!
- В твиттере? Был ли мир таким же красочным, Джордж, когда ты появился на свет? И существовало ли земное притяжение?
- Полагаешь, у тебя достаточно квалификации, чтобы я тебя не уволил?
- Ну, начинается. «Это моя студия, и я тут хозяин...»
- Но ведь так и есть.
- Прекрасно. Тогда оставайся один со своим гусем.
- Журавлем.
- Тогда напиши у него это на лбу, чтобы все поверили, что это журавль.
- Это не для всех. Это...
- Что – это?
- Ничего.
- А что ты так покраснел? Есть чего стесняться?
- Да ты что? Глупости. Я просто... Встретил Журавушку. Вчера ночью.
- Журавушку? Ты имеешь в виду проститутку?
- Да нет же. Господи Иисусе! Просто журавлиха приземлилась в моем саду.
- И?
- И ничего! Иди и звони куда следует!
- Уже иду. Смотри, как изысканно.

- И перестань так вздыхать!
- Клиент, мистер Дункан.
- Что?
- Я говорю – клиент. Прямо за вашей спиной.
- Но я не слышал, чтобы дверь отворя...
- ...
- ...
- Чем могу?..
- Зовите меня Кумико, – сказала она.

* * *

Все всегда удивлялись, узнав о том, что Джордж американец – ну, или что он родился и вырос в Америке. Говорили, что на американца он не похож. Но кого бы ни спросили, что имеется в виду, каждый выглядел озадаченным – не потому, что не представлял, какими должны быть люди, «похожие» на американцев, а потому, что не знал, насколько это может обидеть Джорджа.

Все эти люди, даже из числа друзей – высокообразованных, не раз посещавших Америку, – крайне затруднялись расстаться с убеждением в том, что, не считая самого Джорджа (нет, что вы, что вы), все остальные триста миллионов его соотечественников – беспаспортные, ненавидящие любую иронию борцы во имя Иисуса, вечно голосующие за явно сумасшедших политиков, не устающие при этом жаловаться на то, что их вопиюще дешевый бензин на самом деле недостаточно дешев.

– Видите ли, Америка – это... – обычно начинали они, но тут же терялись и не знали, чем закончить фразу.

– «Нью-Йоркер», – подсказывал он. – Джаз. Мерил Стрип.

Обычно это сразу вызывало у них желание скопировать американский акцент, услужливо-открытую улыбочку и беспрестанные подмигивания. По крайней мере, эта привычка у них не исчезла и через многие годы; даже через десять лет после его переезда в Англию окружающие покупались на самую тупую остроту из сериала про Джея Юинга¹.

– Я из Такомы, – говорил он им.

Они и слышать не желали о том, что жизнь кого-либо, кроме них самих, может быть сложной и неоднозначной и что у старушки Истории никогда не бывает одной-единственной версии прочтения. Им оказалось до странного сложно принять тот факт, что Джордж хоть и американец, но вырос не на Дальнем Юге и не Восточном побережье, а на Тихоокеанском северо-западе, где акцент мягок почти по-канадски, и что его родители, пусть и самые заурядные церковные прихожане (еще один пункт в списке стереотипов об Америке) – а, простите, где вы найдете американских протестантов, которые не таковы? – к религии все же относились с позиции *laissezfaire*², словно к неприятной обязанности вроде прививок от болезней. Отец его, например, был тайным курильщиком, хотя его церковь славилась евангелической строгостью и такие пристрастия порицала. А однажды Джордж застал своих родителей врасплох – инцидент, о котором в их доме даже думать было запрещено, – и так узнал, что его предки время от времени берут на ближайшей заправке видеокассеты с порнушкой.

– Имя людям – легион, – настаивал он. – Даже если это и неудобно с общемировой точки зрения.

¹ Джон Росс «Джей Ар» Юинг-младший (англ. John Ross «J.R.» Ewing, Jr.) – вымышленный персонаж американского телесериала «Даллас».

² Невмешательство правительства в дела частных лиц, а также в бизнес и торговлю (фр.).

Взять хотя бы первый год, проведенный им в школе. Даже *эта* история в его жизни не была заурядной, что уж говорить обо всех остальных. Он причалил туда прямо из детского сада (хотя кто не приплывает туда из детского сада? – думал он; возможно, это просто была его первая попытка увидеть мир и не задохнуться от ужаса?) и после года учебы сдал всю программу за первый и второй классы, а по чтению его определили сразу в четвертый, дабы не помер со скуки. Преподаватели любили его – за голубые глаза, за смирение, граничащее с рабской покорностью, и за манеру держаться так, словно он собрался отрастить бороду в шесть лет от роду.

– Он такой чувствительный, – говорили о нем учителя на родительских собраниях. – Мечтатель, но в лучшем смысле этого слова. На уроках всегда тянет руку. Очень нежный, особенный мальчуган.

– Ничего особенного! – отрезала мисс Джонс на родительском собрании третьего класса через какие-то пару недель после начала занятий. – Слишком много о себе воображает. Никто не любит выскочек и всезнаек. Ни учащиеся, ни уж тем более *я сама*).

Услышав это, родители Джорджа прямо-таки застыли в своих почтительных позах; мать вцепилась в свою сумочку, точно в таксу, которая вот-вот спрыгнет на пол и изгадит школьный ковер, а потом переглянулась с отцом, и на лице ее отразилось то потрясение, какое появлялось всякий раз, когда ее неожиданно ударяла жизнь. Что, собственно, происходило всегда, как только она выходила из дому.

Джордж узнал обо всем этом, поскольку: 1) предки его были из тех, кто исправно посещает каждое родительское собрание (он полагал, что это у них «синдром единственного ребенка» и они просто не упускают ни малейшего шанса непоправимо испортить все что можно); и 2) у них не получилось нанять на вечер няньку, несмотря на целый эскадрон девушек-подростков, услуги которых обычно предлагает церковь, поэтому Джордж тихонько рисовал цветными карандашами за свободной партой, пока отец с матерью ютились, уморительно задрав колени, на детских пластиковых стульчиках перед столом мисс Джонс.

Но мисс Джонс лишь распалась еще сильнее.

– Это просто не передать, как я устала! – воскликнула она и воздела взгляд к Небесам, словно моля прислать отчет о причинах ее усталости. – От каждого родителя, приходящего сюда, я только и слышу об их крошках Тимми, Стефани или *Фредерико*... – произнесла она с таким отвращением, что даже Джордж сразу понял: речь идет о Фредди Гомесе, единственном, кроме него, исключительном мальчике, который тоже пробился в старший класс по чтению и от которого пахло мылом так, что слезились глаза. – О том, что они особенные, талантливые и одаренные самим Господом и непременно должны попасть сразу в третий класс!

Отец откашлялся.

– Но ведь об этом говорим не только мы, – сказал он. – Это знает вся школа...

– Ах, вся школа?! – Мисс Джонс подалась вперед, перегнувшись чуть ли не через весь стол. – Вот что я вам скажу, мистер Дункан! – произнесла она. – Этим детям всего шесть, семь и восемь лет от роду. У них еще молоко на губах не обсохло. Чему они могут знать цену? Что они вообще могут знать, кроме того, как завязывать шнурки на ботинках и как не обмочиться от звука школьного звонка? Да и с этим, уверяю, справляется далеко не каждый из них!

– Но при чем же тут цена на молоко? – спросила мать таким сдавленным голосом, что при первом же звуке уши Джорджа встали торчком.

Она была нервной дамой, его мать. Ее, очевидно, сбили с панталыку прямо, массивность и – что уж там говорить – *чернота* мисс Джонс, и он тут же понял, что дело добром не кончится. А потому продолжил раскрашивать каждый участок рисунка со Снупи сплошным зеленым цветом.

И в этот момент мисс Джонс совершила роковую ошибку.

– А теперь послушайте меня, миссис Дункан, – сказала она и, выставив указательный палец, помахала им у матери перед носом. – То, что ваш мальчик не ест пластилин, еще не делает его вундеркиндом!

Взгляд матери будто прирос к кончику темно-коричневого пальца, который наставительно вилял у ее носа вверх-вниз, вторгаясь в ее пространство так грубо, что даже Джорджу стало не по себе; и не успел отец произнести своим авторитетным, судьбоносным голосом строителя-прораба: «Так, а теперь послушайте нас!», как мать наклонилась вперед и укусила палец мисс Джонс, звонко клацнув зубами, – и застыла в удивлении на секунду или две перед тем, как разразился весь этот визг.

Рассказывая эту историю, Джордж всегда немного побаивался, не создает ли она несколько искаженное представление о его матери. Кусать зарвавшуюся училку за палец – пускай не до крови и не *настолько* больно, чтобы его родителей можно было обвинить в насилии, чем бы не преминула воспользоваться мисс Джонс, а директор школы при этом, разумеется, держал бы себя так, словно этот укус пальца не первый случай в его директорской практике, – это могло быть прочитано как настоящий подвиг. Его мать выступала в этой истории настоящей героиней, да почему бы и нет? Копилка семейных анекдотов обогатилась нетленной историей, которую пересказывали бесчисленное количество раз и которая неизменно вызывала взрывы смеха.

– И я подумала, – рассказывала мать, краснея от ужаса и восторга (ведь все в комнате смотрели только на нее), – что кто-нибудь непременно укусит этот палец, рано или поздно! Так почему бы не сделать это сегодня?

Но Джордж-то знал, твердо знал в своем сердце, что этот поступок вовсе не был результатом ее обдуманного решения с вынесением столь идеального, яростного вердикта; на самом деле его мать укусила мисс Джонс из-за того, что в панике оказалась полностью оторванной от реальности, от разумной природы вещей. И в этом своем состоянии она была подобна фужеру для шампанского, который может лопнуть в любую секунду. Впервые фужеры для шампанского Джордж увидел в свои девятнадцать лет, тогда их полагалось аккуратно заворачивать и убирать с глаз долой. Отец лично занимался этим, соблюдая все меры предосторожности и стараясь предусмотреть все заранее. Его любовь к жене – а Джордж был уверен, что маму отец любил, – принимала странную форму: он пытался защитить ее от всего на свете, что в конечном счете скорее навредило ей, нежели помогло.

Когда мисс Джонс размахивала своим чертовым пальцем, Джордж был уверен, его мать чувствовала не обиду – она ощущала, что ее атакуют, что весь мир ополчился против нее, и кусала она мисс Джонс вовсе не как победитель, но как утопающий, цепляющийся за соломинку, чтобы выжить. В ее случае – буквально зубами. Вся ее жизнь оказалась под угрозой из-за этого единственного, ужасающего пальца, нависшего над нею, как всадник Апокалипсиса, от которого не стоит ждать ни жалости, ни прощения – ничего, кроме нескончаемого отчаяния. Кто бы на ее месте не восстал?

Сам факт, что этот случайный поступок матери оказался в то же время правильным, его не смущал, и в глубине души он даже был рад за нее, ту женщину, какой она когда-то была. Но между историей, которую всем рассказывают, и настоящей подоплекой событий разница все-таки есть, и разница, возможно, непреодолимая.

Как бы там ни было, результат не заставил себя ждать: Джордж пулей вылетел из третьего класса мисс Джонс в начальной школе Генри Бозмана и приземлился в Академии Израильского Самообучения и Святости «О, приди, приди!» имени Рэнсома и Эммануэли – заведения, где, несмотря на слово «израильский» в названии, очень мало кто мог похвастаться тем, что встретил в жизни хоть одного еврея. (Выросшему в Такоме Джорджу доводилось

встречаться с несколькими евангелистами, кучкой мормонов, парой-тройкой католиков и даже с практикующими буддистами из крупнейшей во всей стране азиатской общины. А вот с евреями все как-то не удавалось. Первых в своей жизни евреев он повстречал перед поступлением в колледж в Нью-Йорке. Где, собственно, встретил потом и всех остальных.)

«О, приди, приди» – заведение, связанное с церковью его родителей разве что благими намерениями, – воспитывало ни много ни мало сорок восемь учеников, от детсадовцев до двенадцатиклассников, которые получали знания из буклетиков для самостоятельного чтения (частенько испещренных их же пометками). Помимо обычных занятий, по средам с утра до полудня ученики посещали церковную службу, которую проводил священник из местной церкви. Служба эта состояла из песнопений вперемежку с молитвами и обязывала всех учащихся раз в неделю менять униформу: с желтой сорочки с галстуком и зеленых брюк – на белую сорочку с зелеными брюками и галстуком.

К тому времени Джорджу стукнуло восемь – возраст, когда ты считаешь нормальным все, что бы ни происходило у тебя перед носом. Он не стал озадачиваться отличиями церковной школы от обычной (начиная с весьма неопределенной этнической принадлежности своих новых одноклассников) и быстро освоился, возведя в повседневную привычку заискивание перед двумя старыми девами, управлявшими заведением: рыжеволосой мисс Келли, чьи волосы были собраны в такой тугий пучок, что она всегда казалась удивленной, и мисс Олдершот, чей взгляд был доброжелательным, подбородок волосатым, а манера обращаться с линейкой выдавала ее садистские наклонности.

В целом Джорджу нравилось здесь, хотя, возможно, мальчик просто не предъявлял к своей жизни особо высоких требований. Он терпеть не мог игру в вышибалы, в которую играла вся школа, – практически единственную разновидность физического воспитания, какая только могла прийти в голову двум престарелым гримзам, помимо унылых прыжков и бега на месте (наскоро, в поту и не снимая галстуков), – но обожал школьную библиотеку, прощая ей даже вымаранные чертыханья и проклятия на загнутых страницах школьной копии «Невероятного путешествия»³.

Ближайшим к нему по возрасту одноклассником оказался Рой (имя старомодное даже по тем временам, как, впрочем, и «Джордж») – паренек на год старше, на год учение и на год опытнее его, что подтверждалось еще и тем, что у Роя был велосипед.

– Это с войны, – пояснил он Джорджу, когда они впервые встретились. – Папаша прикатил на нем домой прямо с фронта. Стажил у япошек после того, как мы их разбомбили.

На дворе были 70-е, и в год бомбежки Нагасаки отец Роя никак не мог быть старше слюнявого младенца, но Джордж проглотил эту байку, точно Божье откровение.

– Ого, – только и сказал он.

– Потому он такой тяжелый, – добавил девятилетний мальчишка, с трудом поднимая велосипед своими ручонками. – Чтобы пережить гранатные атаки, когда лавируешь под вражеским огнем.

– Ого... – повторил Джордж.

– Когда чуток подрасту, поеду на нем во Вьетнам и забросаю гранатами всех япошек.

– А дашь прокатиться?

– Нет.

Школа располагалась на 35-й улице. Рой жил на 56-й, а Джордж – на 60-й, в доме, который никому из его семьи никогда не нравился. Мать Джорджа, которая не работала, обычно забирала его из школы, но иногда она оказывалась занята, так что он возвращался пешком,

³ «Дорога домой: Невероятное путешествие» (англ. «Homeward Bound: The Incredible Journey», 1960) – легендарный роман для семейного чтения канадской писательницы Шейлы Бернфорд (1918–1984) о похождениях двух псов и кошки, пытающихся добраться до дома. Дважды экранизирован в Голливуде (в 1963 и 1993 гг.).

деля часть пути с Роем и разделявшим их велосипедом – огромной железной машиной, которую тот толкал вперед, надежную и покорную, как корова.

В тот весенний день в небе царило солнце, и лишь скудные белые шлейфы то и дело перечеркивали синеву крест-накрест, вылетая из сопел реактивных истребителей с военно-воздушной базы неподалеку. «Один из тех милых денечков, когда Господь решает вас испытать», – как любила повторять мисс Келли.

– И тут ты врубаешься, что весь линкор – это офигенная пушка, прикинь?! – возбужденно рассказывал Джордж. – Весь корабль целиком! Прямо из его носа вырывается гигантский сноп света – *баба-ах!!* – и логово Гамилона уничтожено!⁴

В семье Роя не было телевизора, ведь именно из телезрителей дьявол в первую очередь вербует свою паству (своим родителям Джордж решил об этой проблеме не сообщать, хотя после истории с порнушкой стал догадываться, что те вряд ли учли бы ее), поэтому Джордж частенько заполнял их болтовню по дороге домой подробностями, которых Рою не доставало.

– Но сам он – не совсем планета? – уточнил Рой.

– Не-ет! – еще азартней воскликнул Джордж. – Это самая невероятная штука на свете! Наполовину он как планета, дрейфует в космосе, и в его верхней части построены города, а нижняя половина окаменевшая и круглая... Вернее, он сперва был таким, пока чертов Звездный Патруль его не взорвал.

– Красота-а-а... – с уважением протянул Рой.

– Еще бы! – кивнул Джордж без тени улыбки.

Они дошли до 53-й, самой оживленной улицы в промежутке между «О, приди, приди» и их домами. Миновали супермаркет на углу с парковочной площадкой, запруженной мамашами, не намного стервознее их собственных матерей, с детьми помладше Роя и Джорджа, которые тут же уставились на их школьную форму. Бензозаправка через дорогу напротив была заполнена точно такими же мамашами и детьми.

Они остановились на перекрестке в ожидании, пока сменится цвет светофора.

– Хотя лично я думаю, что некоторые подонки с Гамилона все-таки смылись, – продолжил Джордж. – Потому что под конец никто не выглядел особо счастливым. И еще было слишком много суматохи и криков, смысла которых я не понял. – Он опять улыбнулся. – Но сам корабль все-таки оказался гигантской пушкой, от носа до кормы!

Загорелся зеленый, появилась надпись «Идите», Рой толкнул вперед велосипед, а Джордж погрузился в размышления о непостижимых тайнах японской анимации.

– Из этого велика я тоже сделаю пушку, – сказал Рой. – И когда мне стукнет шестнадцать, возьму его с собой во Вьетнам.

– Это дело, – согласился Джордж.

И автомобиль сбил их сразу обоих.

Позже, рассказывая об этом, Джордж неизменно добавлял: «Вот так оно все и случилось» и «Ей-богу, не вру», ибо всем казалось слишком невероятным и жестоким то, что какая-то тачка не остановилась на красный свет и протаранила сразу его самого, Роя и велосипед, тачка, которой управляла дама восьмидесяти трех лет, не видевшая из-за проклятой баранки почти ни черта.

Как ни печально, это было правдой. Если бы Джордж знал, как ее звали, он бы запомнил это имя надолго, но в его памяти остался лишь ее возраст – восемьдесят три года, ее маленький рост – дама была чуть выше их с Роем, и слова, которые она повторяла без оста-

⁴ «Космический линкор “Ямато”» (яп. «Утю:-сэнкан Ямато», режиссер Кимура Такуя, 1974) – японский фантастический аниме-сериал в жанре «космическая опера».

новки: «Только не надо суда. Умоляю, не надо суда!» Питая уважение ко всем старушкам на свете, Джордж часто жалел, что все случилось именно так, но куда деваться – иногда жизнь не спрашивает заранее, из каких вариантов нам выбирать.

Не сказать чтобы старушка ехала особенно быстро, но все происходящее казалось Рою с Джорджем настолько непредотвратимым и в то же время глупым, что они только и успели одновременно крикнуть «А-а!», прежде чем она их сбила.

И не остановилась.

По поводу этого впоследствии выдвигалось много разных версий, в большинстве своем вполне убедительных: возможно, ее одряхлевшему мозгу понадобилось какое-то время, чтобы осознать, что случилось; а может, шок от случившегося парализовал ее, и нога застыла на газу, вместо того чтобы перескочить на тормоз; или же неверие в реальность происходящего было настолько сильным, что еще несколько секунд после удара она просто ждала каких-нибудь действий *от кого-либо еще*. Но как бы это ни объяснялось потом, она сбила их – и поехала дальше.

Рой заметил ее в последнюю секунду и отпрянул назад, хотя и недостаточно быстро. Машина ударила его под колени, отбросила на мостовую и тут же вписалась в Джорджа и велосипед. Джордж видел, что происходит, но ничего при этом не чувствовал. Сначала из его поля зрения исчез Рой, а потом все пространство перед глазами заполнилось неудержимо надвигающейся на него грудой металла, которая расплющила ему живот о сиденье велосипеда, а еще через миг зашвырнула себе на капот.

И, не останавливаясь, помчалась дальше. Джордж не понимал, куда поставить ногу и на что опереться, ибо землю вдруг выдернули из-под него, – и он рухнул, пораженный настолько, что мог улавливать происходящее лишь одними глазами, не слыша звуков и не чувствуя боли, поскольку все прочие чувства заклинило.

Вместе с ним подбросило и велосипед, руль которого зацепился за передний бампер, и, пока старушка *все еще* ехала дальше – десять, двадцать, тридцать футов по пешеходной зоне, вперед и вперед, – Джордж соскользнул на землю, и его тут же придавило тяжеленным велосипедом – прямо на дороге, перед носом автомобиля. Это он помнил отчетливо, куда отчетливей любых других подробностей происшествия. Больше всего это напоминало съезжание на спине со снежной горки – несколько секунд, в которые чувство боли откладывается на потом и воспринимается лишь как грядущая вероятность. Так или иначе, остановиться он все равно не мог – рукам не за что было ухватиться, ногам не во что опереться, а голове даже не на кого оглянуться, чтобы просить о помощи.

Возвращаясь мыслями к этому событию, Джордж, как это ни парадоксально, яснее всего остального помнил о своем невероятном спокойствии. Он видел одно лишь небо над головой – ясное, умиротворяющее, просторное, бесстрастно взиравшее сверху на то, как его подбрасывает от удара, шарахает о мостовую и придавливает тяжелым велосипедом. Очень похоже на момент, когда он нашел Журавушку (или она его), – миг, когда время остановилось, миг, в котором можно жить вечно. Он вглядывался в это небо с восторгом и недоверием в сердце, и единственной вразумительной мыслью в голове было: *«Это действительно происходит со мной»*.

«Это действительно произошло со мной, – рассказывал он потом. – Может, кому-нибудь покажется, что я сочиняю, но уверяю вас, именно так все и было...»

Велосипедный руль отцепился от бампера, и велосипед свалился, но каким-то образом – к счастью? чудом? невероятно? немислимо? – свалился так, что старухина машина вытолкнула его на обочину, и Джорджа с ним заодно. И вместо того чтобы оказаться размазанным колесами по асфальту, Джордж увидел, как эти колеса пронеслись мимо в какой-то паре дюймов от его носа.

А потом пришла тишина. Абсолютная. По-прежнему лежа на спине, Джордж повернул голову и увидел Роя. С момента удара прошло всего несколько секунд, и Рой также лежал на дороге, безуспешно стараясь подняться. Джордж пытался делать то же самое, и о том, что оба не могут встать, они догадались одновременно. И тот, и другой корчились на земле в совершенно одинаковых позах.

Осознав это, они расхохотались.

Теперь, почти сорок лет спустя, Джордж все еще помнил об этом смехе – искреннем, неподдельном. Они, пацаны восьми и девяти лет, за несколько мгновений до того, как неизбежная боль накрыла их с головой, и прежде чем осознать, что только что избежали почти неминуемой гибели, две-три секунды хохотали.

Но мир больше ждать не мог. И хлынул на них тысячным людским потоком с парковочной площади у бензозаправки, из стеклянных дверей супермаркета, и все эти тысячи лиц – хотя не могло их быть более десяти – были так искажены праведным гневом и одновременно болью, что Джордж неожиданно разрыдался.

Взрослые стали трогать его и Роя, подняли их на руки и унесли с дороги, а некоторые погнались за автомобилем старухи, который начал останавливаться лишь теперь, через полсотни шагов от места происшествия. Эти люди вызвали «скорую», а также пожарную машину, что Джорджу, даже при всей его боли и оторопи, показалось несколько лишним. Он не помнил, чтобы давал кому-либо номер своего телефона, но, видимо, все-таки давал, поскольку некая женщина откуда-то сзади – он помнит это совершенно отчетливо до сих пор – сказала другой: «Ну, я позвонила их матерям. Одна спокойная, другая истерит».

Его плечи опали, как сдувшийся мячик.

Нечего и говорить, именно его мать примчалась в слезах, столь же неудержимых, как и старухин автомобиль, и первыми же словами, слетевшими с ее губ (это он тоже помнит очень ясно), были: «Почему ты не позвонил, чтобы я забрала тебя?»

В тех редких случаях, когда Джорджу доводится рассказывать финал этой истории, в которой его мать выступила так нелепо, он напоминает своим слушателям – дескать, она услышала новость о том, что ее восьмилетнего сына сбила машина, и потому, разумеется, у нее были все причины временно сойти с ума. И тем не менее каждый раз ему хочется извиниться перед всеми этими незнакомцами за поведение своей матери, за то, что ее пришлось успокаивать водителю «скорой помощи», и за кислородную маску, которую она так охотно приняла из рук медбрата. Та самая женщина, которая так героически (якобы) укусила за палец саму мисс Джонс, теперь стяжала на себя все софиты сцены, на которой ее сына сбило автомобилем.

Они выжили. Конечно, выжили. И даже сильно не пострадали. Никаких переломов, хотя Рою и разорвало связки в обоих коленях. А Джорджу, пусть и принявшему на себя всю тяжесть удара, удача улыбнулась немного шире. Два огромных синяка на бедрах неделю мешали ему ходить, а затылок и локти стерлись об асфальт до мяса, но все это было сущими пустяками по сравнению со смертельной опасностью, которой он избежал. Его даже не стали захивать в «скорую». Увезли только Роя, под завывание сирены, а Джордж остался со своей матерью, которая отвела его в больницу, всю дорогу причитая и плача так, что ему самому пришлось ее успокаивать.

Она впала в такое отчаяние, что он даже не стал рассказывать ни ей, ни отцу о том, до чего в свои восемь лет додумался сам: если бы не велосипед Роя, упавший так странно – сначала зацепившийся за бампер, а потом в самый страшный момент оттащивший Джорджа в сторону, – старуха бы раздавила его. Колеса ее авто, выглядывающие из-за велосипедной рамы, точно ненасытные драконы из-за прутьев железной клетки, просто размазали бы его по асфальту.

И все же, не случись этого события, Джордж никогда бы не уставился в это небо – и никогда не пережил бы момента, когда он был единственным, кто действительно жил во всем этом великом, содеянном кем-то мире.

О дальнейшей судьбе старухи он так никогда и не узнал. И что еще удивительнее, он не знал, что дальше было с Роем, как тот излечился от всех своих ран. Джордж даже не мог вспомнить его фамилию, не говоря уже обо всем остальном. Он не помнил, как вернулся в «О, приди, приди», то есть, скорее всего, он просто туда не возвращался, а его родители заняли позицию «бог его знает» в отношении ситуации, когда их сын чуть не отдал концы. Джордж знал, что родители выдали ему сотню долларов из страховки – он купил на них книги, – а остальное потратили на ремонт дома. Но как насчет всего остального? Ну да, он выжил. Но разве это могло быть сравнимо с потрясением, перенесенным его мамашей? С тем, что при этом пришлось испытать ей?

Время шло. Учительница четвертого класса по имени миссис Андерхилл оказалась прекрасной женщиной, но по неизвестным причинам – вероятно, финансовым – его родители не смогли позволить себе даже обильно спонсируемую церковью частную школу. И Джордж – возможно, из-за того, что это место, надо признать, было немного странным и абсолютно не подходящим для натур чувствительных, – все же покинул «О, приди, приди» и на следующий год перешел обратно к Генри Бозману. Учился он прилежно, и этого оказалось достаточно, чтобы его родители смогли вписаться в общий круг и выбить ему стипендию для поступления в любой вуз на другом побережье.

Так Джордж оказался в Нью-Йорке. И как тут не вспомнить слова мисс Джонс? Несмотря на недостаток схоластического чутья, Джордж все же выделялся из круга своих сверстников. Он умудрился выцарапать себе стипендию и перебрался в Англию – как раз тогда, когда больше не видел смысла в получении звания и диплома. Ему было уже все равно. Он встретил Клэр. А домой приезжал разве что на похороны. Сперва с отцом произошел несчастный случай на стройплощадке, а потом умерла и мать якобы от сердечного приступа, но, вероятнее всего, оттого, что, ухаживая за мужем, отдала слишком много своих драгоценных сил. Что нередко случается. Джордж остепенился, и теперь он уже жил в Англии дольше, чем в Штатах, что могло бы кому-нибудь показаться важным, хотя никогда таковым не являлось.

История эта, впрочем, произошла на самом деле – во всех деталях, – несмотря на всю свою невероятность. Теперь, спустя столько лет, Джордж понимал, что она перестала быть его личной историей, рассказывающей лишь о части его собственной жизни.

Уж не из-за всех ли этих людей?

Всех, кто прибежал с заправки и из овощной лавки, всех тех, о ком Джордж начал задумываться, когда повзрослел, особенно после того, как сначала стал отцом Аманды, а потом дедушкой Джея-Пи? Всех этих людей, незнакомцев, чьих имен он так и не узнал, а лиц не запомнил, всех этих случайных индивидуумов, увидавших, как двух маленьких мальчиков сбила старуха в огромной машине?

Интересно, случалось ли им рассказывать эту историю? Даже Рою с Джорджем эти мгновения показались мучительными, мгновения, когда никто не сомневался в том, что они, скорее всего, погибнут, и не было ничего – ничегошеньки! – чем все эти взрослые могли бы им помочь. Невыносимость этих мгновений Джордж полностью прочувствовал лишь однажды, когда Аманда, едва научившаяся ходить, в пятнадцати шагах от него вдруг упала с бордюра на дорогу с мчавшимися автомобилями. Она мгновенно перестала реветь, когда увидела, как перепугался ее отец, и ощутила, с какой силой он прижимал ее к груди.

Джордж чувствовал, что связан с ними, со всеми этими безымянными свидетелями, которых теперь не найти – даже в нашу эпоху безудержного всеобщего *осетения*. Их жизни ненадолго пересеклись с его судьбой – и случилось то, что происходит – конечно же

по-разному, но с кем угодно – каждую секунду и где ни попадя, вот только смысл обретает, лишь когда касается кого-то лично, не правда ли?

На самом же деле – и Джордж часто думал об этом, – хотя в своей версии произошедшего он и выступал главным героем, его, разумеется, неизбежно делали персонажем второго плана, когда ту же историю рассказывал кто-то другой. Как они вообще рассказывали ее? Ведь наверняка же они это как-то делали. «Вы не поверите, недавно со мной приключилось такое! Захожу в супермаркет, покупаю блок сигарет для мужа и две бутылки виноградного сока. Уж не помню почему, но точно помню, что две. Поднимаю глаза – и тут...»

А как насчет старухи? Какую историю рассказывала она в те недолгие годы жизни, что ей оставались? А как насчет водителя «скорой», который, скорее всего, очень быстро забыл о несчастном случае, в котором два пацана отделались легкими царапинами?

И если уж на то пошло, как звучала бы версия мисс Джонс, взбреди ей в голову рассказать кому-либо о белой сумасшедшей, укусившей ее за палец? Как бы она отличалась от версии Джорджа? Или от рассказа его матери, в котором уже все происходило совсем не так, как рассказывал он?

Стоило ли так ломать над этим голову? Джорджу казалось, что стоило, и даже не ради того, чтобы выяснить истину или установить, что же именно происходило в тот или иной конкретный момент. Истин – в чем-то совпадающих, переплетенных одна с другой – всегда было столько же, сколько и рассказчиков. Истина как таковая значила меньше, чем история чьей-то жизни. Забытые истории умирали. А оставшиеся в памяти не просто жили, но и обрастали деталями.

И когда бы он ни рассказывал свою версию этой истории – о причинах своей «неамериканскости», о роли, которую в этом сыграли его теперь уже покойные родители, об укушенном пальце, из-за которого он умудрился в итоге попасть под машину, – беседа сразу же перетекала к другой истории, которую рассказывал кто-нибудь еще, а сам он частенько забывался и, слушая вполуха, на какое-то время погружался в собственные воспоминания.

Он рисовал в них себя – за десятилетия, за океаны и континенты отсюда, под восхитительным голубым небом, в невероятном безмолвии распятым на асфальте, под пристальными взглядами десятков пар испуганных глаз всех этих «сорассказчиков», и, поскольку он мог видеть их, а они – его, во всех различных интерпретациях их жизни пересекались и связывались друг с дружкой в то, что Джордж мог определить лишь как всеобщие объятия, и этот миг длился *постоянно* – и не заканчивался до сих пор.

И благодаря этому бесконечно повторяющемуся мигу боль оставалась на якоре, страх дремал на привязи, а все остальное казалось удивительным и чудесным.

* * *

На этот раз дела у Аманды пошли наперекосяк, когда из всех дурацких мест на нашей зеленой планете они с Рэйчел и Мэй приехали к самому идиотскому – мемориалу «Животные на войне»⁵.

– Гребаный стыд! – протянула Аманда, скорчившись в одиночку на заднем сиденье, хотя была выше Мэй чуть не на целый фут и по всей логике куда больше заслуживала места впереди.

Все это неизбежно возвращало ее в раннее детство, к тем поездкам с родителями, когда ей полагалось всю дорогу до Корнуэлла спать на заднем сиденье, пока Джордж вел машину в

⁵ «Животные на войне» (англ. «Animals in War Memorial») – мемориал в Лондоне, посвященный памяти всех животных, которые «служили и погибли в британских и союзнических войсках в войнах и конфликтах во все времена».

своей обычной нервно-растерянной манере, а мать отчаянно пыталась разобраться в бумажках для адвоката.

Всякое настроение для пикника у Аманды пропало, но изменить свои планы на этот день, казалось, уже невозможно. Мэй неизменно восседала впереди, а Рэйчел, как всегда, крутила баранку, хотя все трое могли бы ехать каждая на своей машине.

Таковы были правила, как и во многом другом. Правила, которым Аманда честно пыталась следовать, но неизбежно и безнадежно что-нибудь нарушала.

– Что именно? *Это?* – спросила Рэйчел. И, не отнимая ладони от руля, показала намаженированным пальцем на огромную стену из затейливого мрамора, тянущуюся вдоль дорожного особняка прямо в центре квартала Мейфэр.

Перед стеною покорно застыли памятники – лошадь, собака и, кажется, почтовый голубь, хотя Аманде никогда не доводилось разглядывать всю эту дичь вблизи. Зачем? Кому вообще это нужно?

– Да, *это*, – сказала Аманда, хотя часть ее мозга уже посылала истеричные сигналы тревоги. – «У них не было выбора!» – с пафосом продекларировала она девиз Мемориала, довольно похоже копируя Хью Эдвардса⁶. – А с чего у них будет свой выбор? Ведь это животные! Разве это не оскорбление реально погибших на войне людей – отцов, матерей, сыновей, дочерей, – когда их приравнивают к гребаному *лабрадору*?!

В нахлынувшей тишине Рэйчел и Мэй переглянулись, и Аманда поняла, что осталась в одиночестве, что, возможно, это еще не последний раз, когда ее пригласили прокатиться в машине Рэйчел на импровизированный пикничок в духе «Один-раз-живем-так-давайте-же-сагре-такой-неожиданно-солнечный-*diem*»⁷, но вероятность получения таких приглашений в дальнейшем резко сократилась.

Хотя произносить слово «гребаный» (тем более дважды) было само по себе рискованно, она все же рассчитывала на особую роль в их троице – роль подруги, которая может и матюгнуться, которая знает, как скрутить косячок, если попросят (пока не просили), и которая успела сожрать в былом замужестве столько дерьма, что жизнь ее стала похожа на жизнь гиены. Как Рэйчел, так и Мэй тоже развелись, хотя и не в столь юном возрасте и не с таким раздраем. Они сами выбрали ее на эту роль, и она старалась играть ее как можно достойнее.

Ну и хрен с вами, мысленно вздохнула Аманда. В гробу я обеих видела...

Даже за восемь месяцев знакомства она так и не стала для них своей.

Занималась Аманда транспортным консалтингом, так же как Рэйчел и Мэй. В их фирме из семидесяти четырех сотрудников работало всего девять женщин, что конечно же незаконно. И дело не в том, что транспорт – совсем не женская индустрия (хотя, конечно, отчасти и в этом), просто такая уж это была контора: в их компании, «Амбрелло Флэттери», начальницей отдела кадров работала женщина, ненавидевшая всех прочих представительниц своего пола (Фелисити Хартфорд, несомненно, Дама Номер Один из всех девяти). На собеседовании перед приемом на работу она объявила, что по своим способностям Аманда «в лучшем случае» восьмая по счету кандидатка (из восьми), но в конце концов даже пожилой Амбрелло-старший начал удивляться, зачем его секретаршу, нанятую совсем недавно, вдруг заменили на хлыщеватого вида юношу, в воротнике сорочки которого вечно торчит «какая-то нелепая железяка, миссис Хартфорд». И прежде чем миссис Хартфорд «сыграет в ящик, не выдержав очередного судебного разбирательства», Аманде придется заниматься всем этим самой.

⁶ Huw Edwards (p. 1961) – легендарный журналист, диктор и комментатор корпорации Би-би-си, лауреат премии Британской академии кино-и телевизионных искусств (BAFTA).

⁷ Обыгрывается крылатое латинское выражение «*Сagre diem*» – «Живи одним днем».

Аманду определили в отдел к Рэйчел и Мэй – миссис Хартфорд предпочитала разбивать всех сотрудниц на мелкие группы, чтобы было легче уволить любую из них, как только она задумает это сделать, проснувшись однажды утром, – и обе разведенки приняли ее под свое крылышко как младшую подругу по несчастью. В первый же день они пригласили Аманду на ланч, и за сорок пять минут обеденного перерыва она не только узнала о том, что Рэйчел разместила фотографии голой любовницы своего бывшего мужа на мемориальном сайте покойной матери этой самой любовницы, что Мэй страдает молочницей и что в колледже Рэйчел выжила при пожаре (который, похоже, сама и устроила), унесшем жизни двух ее соседок по общежитию, но еще и успела услышать от Мэй целых три душещипательных анекдота про обрезание.

– Они что, все были братьями, эти трое? – рассмеялась Аманда низким, тяжелым, скабрезным смехом, который она назвала бы своей лучшей «фишкой на публику», догадайся хоть кто-нибудь ее об этом спросить.

Никто не засмеялся в ответ.

Это были долгие восемь месяцев.

– Можешь достать корзинку для пикника? – попросила Рэйчел, втискивая свой «мини» в свободный проем на парковке.

– Конечно, – ответила Аманда. Именно она всегда доставала чертову корзинку для пикника.

Мэй вышла из машины, крайне сосредоточенно пялясь в мобильник. Она отслеживала по GPS свою дочь, которую «воскресный папаша» забирал к себе по выходным.

– Поверить не могу, – сказала Мэй, которая никогда ничему не могла поверить. – Он привез ее в «Нандо'с»!

– Что за херню вы сюда напихали? – спросила Аманда, пытаясь вытащить из машины необъяснимо тяжелую корзинку для пикника.

Она чувствовала себя носорогом, вылезавшим задницей вперед из стеклянной витрины.

– Послушай, тебе уже двадцать пять, так ведь? – сказала Рэйчел. – Ты моложе нас, ладно, я понимаю. Но не слишком ли взрослая, чтобы ругаться так, словно торчишь от скинхедов?

– Извини, – буркнула Аманда и вытащила наконец проклятую корзинку.

Но не удержала в руках, и та гулко шмякнулась о землю. Поток вина хлынул из ее днища и зажурчал, как ручеек – очень дорогой ручеек.

Рэйчел вздохнула:

– Это была наша единственная бутылка красного?

– Извини, – повторила Аманда.

Рэйчел ничего не ответила, просто выдержала паузу, давая Мэй время заметить, что Аманда стоит в луже бесценного Pinot.

– О-о-о! – едва слышно прошептала Мэй, наконец оторвавшись от экрана. – Глазам своим не верю...

Аманде всегда хорошо удавалось *начинать* отношения. И в школе, и в колледже, и на разных работах по окончании вуза, не говоря уже о целой ватаге друзей, вертевшихся вокруг Генри. При первой встрече она всем нравилась. Это действительно так.

То, что могло бы казаться пугающим в мужчине – рост выше среднего, широкие плечи, низкий командный голос, – в этой женщине, напротив, обезоруживало. Глядя на нее, парни помнили, что перед ними девушка, но в то же время могли рассуждать о каком-нибудь регби, а потом неожиданно для себя покупали ей пиво и спрашивали, каковы, по ее мнению, у них шансы закадрить вон ту аппетитную голландочку с курсов по экономике. Геем она тоже нра-

вилась, что имело свои преимущества, хотя и вызывало смутное ощущение, будто ей удалили яичники; что же до женщин – те поначалу ценили ее как подругу, с которой наконец-то можно оставаться собой и говорить что думаешь, не особенно заботясь о вечной девчачьей конкуренции. Они считали ее «своим парнем», это правда.

И в этом они ошибались.

– Ой, смотри! – воскликнула Карен, ее новоиспеченная «лучшая подруга» (одна из многих) в колледже, которая училась на географа, никогда не фанатела по Бристолу, а также считала, что секрет провала любой политической философии в истории можно ужать до простейшей, основополагающей формулы: «Все люди – тупицы». – По ящику крутят «Волшебника страны Оз»!

– Да ты что? – отозвалась Аманда и шлепнулась на диван рядом.

Они только что классно оттянулись в клубе на вечеринке. Ее лучший прикид так и лип к пропотевшей коже, а ноги просто отваливались в этих туфлях – все-таки для девушки с широкой костью неестественно забираться на шпильки, – и хотя они с Карен танцевали, выпивали, хохотали и курили всю ночь, привлечь мужское внимание им так и не удалось; никто из парней даже взглядом за них не зацепился. Если судить строго, у Карен проблемы с формой носа. И бровей. И еще, ну что поделывать, она прихрамывает, хотя в танце этого почти не заметишь. Но как бы там ни было, всё прошло весело и весьма многообещающе.

С небольшой помощью от матери с отчимом Хэнком – а родной отец платил за ее обучение и вряд ли мог себе это позволить, поэтому она всегда врала, когда он спрашивал, не нужно ли ей что-нибудь еще, – Аманда могла снять комнату в квартирке с двумя спальнями недалеко от университета, чтобы прожить там последний год перед выпуском, и подыскивала компаньонку. Карен прочла ее объявление, опубликованное на вузовском сайте, и откликнулась. Они встретились за кофе, ударили по рукам и въехали в новое жилище. С тех пор прошло две недели, и никаких проблем на горизонте не наблюдалось.

– Вот уж не думала, что это вспомнят и покажут еще хоть раз! – с энтузиазмом продолжала Карен, поджимая на диване ноги. И, вдохнув поглубже, приготовилась подпевать «Мы в Город Изумрудный...»

– Дурацкий фильм, – сказала Аманда. – Ненавижу.

Карен поперхнулась воздухом, так ничего и не спев.

– Че-го?! – спросила она сквозь кашель с таким видом, точно Аманда съездила ей кулаком по физиономии. Реально съездила, без дураков.

Словно не замечая этого, Аманда рубанула:

– История вымучена, сюжет – дерьмо. Чтобы все связно выглядело, актеры, как последние маразматика, выворачиваются наизнанку. А под конец мало того что никакого чуда не происходит, так еще и главный волшебник оказывается жалким клоуном! Лузер, который призывал всех идти за собой, а когда дело запахло Международным трибуналом, спас свою задницу, удрав на воздушном шаре. Вылитый Милошевич!

На несколько секунд она прервала свою речь, увидев, как вокруг глаз Карен расплзаются белые пятна, но подумала, что это из-за подозрительных таблеток, которые они купили возле клубного туалета у какого-то толстячка, который клялся, что это – экстези, найденное в спальне у его старшего брата; поэтому Аманда допускала, что таблеткам уже лет двадцать и на самом деле это вообще какой-нибудь парацетамол.

– Ты... шутишь, да? – уточнила Карен.

– А потом эта Дороти возвращается в свой Канзас, – продолжала Аманда, отчего-то решив, что Карен таким образом ее подзадоривает, – и мы должны быть счастливы от того, что она вернулась к своей прежней унылой черно-белой жизни с перспективами ниже плинтуса? Что мечты – это, конечно, хорошо, но давай-ка, милая, не забывай, что на самом деле тебе никогда не вырваться с этого сраного ранчо? За то же самое, кстати, я ненавижу Хро-

ники гребаной Нарнии... О нет, только не показывайте мне этого извращенца! – воскликнула она, когда на экране закривлялся Трусливый Лев. – Исчадие кошмаров!

Карен оторопела. Точнее, оторопела еще сильнее.

– Кто? Трусливый Лев?

– Ой, да ладно. Только не говори, что он не напоминает тебе сразу всех педофилов, от которых ты велела бы своей дочери держаться подальше! Так и ждет момента, чтобы взгромоздиться на малютку Дороти со своим агрегатом. – И она в самых ужасных интонациях передразнила Трусливого Льва: – «Ну давай же, крошка Дороти, садись к дядюшке Льву на коленки, и он покажет тебе, *за что* его называют королем джунглей, вот так, вот так...» А потом прижмет ее к *земле*, стянет с нее трусы и доберется до всех ее рубиновых пре...

И тут Аманда остановилась, поскольку ошибаться насчет выражения лица Карен стало уже невозможно. Парацетамол на людей так не действует.

– Ну чего ты, не реви! – добавила она, но было поздно.

Как выяснилось, бедняжку Карен периодически «заряжал» (по ее же дичайшему выражению, которое она повторила несколько раз) ее собственный дед – с тех пор как ей исполнилось пять и вплоть до ее четырнадцати. Прекратилось это лишь с его смертью. Мало того, когда она рассказала об этом своим родителям, те выкинули ее из дому и согласились впустить обратно, чтобы она могла сдать выпускные экзамены в средней школе, лишь когда Карен поклялась, что все это выдумала.

– Ты просто не знаешь, каково это... – рыдала она потом в объятиях Аманды долгими, долгими часами. – Просто не знаешь...

– Ну, прости меня, – бормотала Аманда, неловко глядя ее по голове. – Я правда не знаю.

Этот случай мог бы и сблизить их. С большой вероятностью. Но вместо этого Карен начала приглашать в дом подруг, с которыми резко обрывала любую беседу, как только в комнате появлялась Аманда. И все снова кончилось, как всегда.

Самое ужасное – Аманда понятия не имела, в чем тут загвоздка. Насколько она помнила, у нее самой было абсолютно нормальное детство. И с Джорджем, и с Клэр, несмотря на их развод, она оставалась по-прежнему близка, ей никогда не приходилось особенно беспокоиться о деньгах и личной безопасности. Но ей все время казалось, будто она родилась с каким-то едва ощутимым изъяном – где-то глубоко внутри, – изъяном, который слишком стыдно показывать кому-либо еще и вокруг которого она всю жизнь выстраивала некий защитный панцирь, дабы никто ничего не заметил. И со временем панцирь *стал ею самой* – это было неизбежно, – только она никогда не признавала этого факта, хотя от такого признания ей, возможно, и стало бы легче. Ведь настоящую правду о себе – о том, что внутри у нее что-то немного не так, – знает только она одна, и никто никогда не должен этой правды увидеть. Ведь если не *это* – она настоящая, то что же тогда? Глубоко внутри она сломана, неисправна, и вся ее жизнь – бесконечная попытка сделать так, чтобы этого никто не заметил.

– У тебя все в порядке, дорогая? – спросил отец, позвонив ей в очередной раз.

– О боже, пап, ну конечно! – ответила она, еле сдерживая слезы.

– Просто все утверждают, будто эти годы в колледже – твои лучшие годы, но, должен признаться, мне всё это время было там как-то... неловко? Да, пожалуй, что неловко.

– Тебе всё всегда неловко, Джордж, – сказала она, выгибая спину, чтобы рыдание не вырвалось из горла.

– Да, наверное, – рассмеялся он.

И это было настолько невыносимо – вся его забота о ней, вся бессмысленность этой заботы, – что, когда он спросил, не нужно ли ей еще денег, она просто повесила трубку.

Рэйчел и Мэй уселись на траву и разложили почти все салфетки, взятые для пикника, исключительно между собой. Денек для пикника выдался не самый теплый, но, по мнению

Аманды, Рэйчел любила подкладывать подружкам подобные «суровые испытания» и смотреть, как те будут с ними справляться. Кто захныкал – тот проиграл.

– Так кто сегодня присматривает за Джей-Пи? – спросила Рэйчел, так и не сняв пальто.

– Мой папа, – ответила Аманда, заглядывая в корзинку и не находя там ничего, что лично ей хотелось бы съесть. Наконец она остановила свой выбор на пластиковом контейнере с салатом. – А соус какой-нибудь есть?

Очередная пауза – и очередной негромкий смешок между Мэй и Рэйчел. Сделав вид, что этого не заметила, Аманда нашла по крайней мере дорогущего вида бутылку с оливковым маслом. Обильно, не скупясь, полила им салат – как тот, что собиралась съесть сама, так и всё, всё, всё остальное. Закрыла бутылку крышкой – так резко, что та захрустела под пальцами, слетела с резьбы и перестала держаться. И аккуратно положила обратно в корзинку – в таком положении, чтобы со стороны бутылки *казалась* закрытой, – и Мэй с Рэйчел ничего не заметили.

– А мой папаша в жизни с ребенком не сидел? – сказала Рэйчел, наливая в кружку кофе из вопиюще гламурного термоса. – Ни одного подгузника не поменял? И как собственных детей зовут, не помнил, пока нам лет пять не исполнилось?

– Ой, я тебя умоляю! – поморщилась Мэй, удивив как Аманду, так, похоже, и саму себя, но тут же восстановила на лице маску жизнерадостного согласия.

Аманда, впрочем, и не надеялась на солидарность; просто, судя по всему, даже Мэй устала от вечного стремления Рэйчел глумиться над своим папашей-австралоидом, который, судя по ее описаниям, разве что не арканил рогатый скот, стиснув лассо зубами, и не рассекал на доске по волнам с банкой пива в руках. *Был ли его нос типичной «австралийской картошкой»?* Аманда никогда не спрашивала. *А торс мускулистым? Или имелось отвислое брюшко?* Ни разу не поинтересовалась. *Носил ли он на затылке хвост, как у музыканта из джаз-бэнда 70-х?* И спросить бы не подумала. Аманда заглянула в себя. Все-таки она к Рэйчел слишком несправедлива. Но порой излишняя несправедливость к кому-нибудь так увлекательна, правда?

– А мой папа отлично ладит с Джейм-Пи, – сказала она. – Он очень добрый. Настоящий отец. Заботливый.

– М-м-м? – как бы ответила на это Рэйчел, наблюдая за молодыми парнями, гонящими мяч на полянке, выбранной ею для пикника. – Младший брат Джейка Гилленхаля, три часа.

Мэй сморгнула:

– Знаешь, я никогда не понимала, что у тебя это значит. Ты говоришь «*три часа*» так, словно это направление.

– Но это так и есть, – ответила Рэйчел, указывая направление пальцем. – Двенадцать, час, два, а вон там – *три часа*. Что тут сложного?

Обернувшись куда нужно, все увидели мистера Три Часа, который – чего Аманда никогда не признала бы вслух – был действительно чертовски привлекателен, хотя довольно юн для нее самой и уж точно чересчур юн для Рэйчел, которая на шесть лет была старше ее. Шевелюра у парня была густой и соблазнительной, как молочный коктейль, и в том, что он осознавал это, сомневаться не приходилось. Даже на таком расстоянии было видно: парню не отказать в самолюбовании, как королеве в снисходительности.

– Могу спорить, *этот* кричит, когда кончает, – пробормотала Аманда, не осознавая, что произнесла это вслух, пока Мэй не хрюкнула от смеха.

Она обернулась, но Мэй уже вновь остепенилась под взглядом Рэйчел. Хватить телефон – и ну отслеживать дальше местонахождение дочери.

– Они все еще в «Нандо'с»! – объявила наконец Мэй.

– Ну, Марко хотя бы ребенком интересуется? – обронила Рэйчел. – По крайней мере, не раскатывает с новой зазубой по заграницам? И не забывает о своих обязанностях?

Вилка в руке Аманды застыла на полпути от последних крошек салата ко рту; боль от укола была такой неожиданной, что к глазам подступили слезы. И лишь невероятным усилием воли она не позволила им побежать по щекам.

Потому что все было не так. Точнее, так, да не так. Да, Генри вернулся во Францию и живет теперь с Клодин, но Аманда фактически сама заставила его уехать, изгоняя из своей и Джей-Пи жизни с такой энергией и постоянством, что самой себе удивлялась. Он же звонил Джей-Пи каждую неделю, несмотря на то что навыки общения по телефону у четырехлетнего мальчишки были почти нулевые. Говорил, что хочет приучать сына к звукам настоящей французской речи, хочет, чтобы тот слушал, как его имя (Жан-Пьер) произносится на самом деле и как звучат колыбельные, которые когда-то ему пела родная бабушка.

Если бы сердце Аманды не раскалывалось на куски каждый раз, когда она слышала голос Генри, это звучало бы даже мило.

Они познакомились, когда она училась на последнем курсе вуза; сперва встречались на лекциях, а потом и на университетских вечеринках. Мужественности в этом представителе сильного пола было хоть отбавляй. Уже в двадцать лет в его волосах мелькала солоноватая проседь, и из всех девчонок их студенческого потока она оказалась той единственной, с кем он решил сидеть рядом, разглядев, как он потом рассказал, «родственную душу», чему, вероятно, способствовало отчетливое ощущение, что любого врага она не только убьет, но и съест.

Она, со своей стороны, впадала в такую эйфорию всякий раз, когда он оказывался в одном с нею помещении, что начала жить в состоянии почти непрерывной ярости. Факт его существования она долгие месяцы скрывала даже от родителей, чтобы те не дай бог не стали хихикать над тем, как жестоко она втюрилась, хотя именно они конечно же были последними, кто стал бы так поступать.

Больше всего от нее доставалось самому Генри.

– А ты с огоньком! – подцепил он ее, и хотя это звучало нелепо даже с его французском акцентом, оба находились на таком взводе, что вряд ли о том задумались.

Это напоминало ухаживание урагана за скорпионом. Со швырянием друг в друга предметов, невероятным сексом и месяцами жизни в какой-то лихорадочной дрожи. Все так по-молодежному! И так по-французски! Она была сметена примерно как скоростная трасса оползнем – ничем не остановимой катастрофой, которая перемальвает ее в щебень. Они ругались даже на свадьбе. Прямо на церемонии.

Через месяц после женитьбы она обнаружила, что уже на третьем месяце, и принялась обвинять его в чем ни попадя еще неистовее, чем прежде. Он не врубается, какие ножи обычные, а какие – для стейка. Он забивает окурками всю землю в горшке с камелией, высаженной ею на балконе в их новой квартирке, ремонт которой он так и не довел до конца. А однажды вечером, во время все еще весьма замечательного секса – и это несмотря на седьмой месяц беременности, – он вдруг показался ей таким злым, что она непроизвольно залепила ему пощечину, и с такой силой, что расцарапала ему щеку обручальным кольцом; поступок этот поверг ее в глубочайший шок, она сбежала из дому и провела всю ночь у отца в ужасе от мысли о том, что будет дальше.

На следующий день Генри съехал.

– Дело не в пощечине, – сказал он со сводящим с ума спокойствием. – Француз может принять пощечину, Господь свидетель. Дело в том, с каким лицом ты это сделала.

Он взял ее за руку с нежностью, ранящей сильнее любых жестокостей какой бы то ни было драки.

– Ты борешься с ненавистью к самой себе, все это замечают, и ты очень стараешься, переключая ее лишь на тех людей, у которых, как ты надеешься, достаточно сил с этим справиться. Это я понимаю. Я сам такой же. Это тяжело, но можно перенести, если твоя любовь ко мне сильнее, чем ненависть. Но однажды баланс уже сместился в другую сторону, и я не думаю, что это можно исправить. Ни в тебе, ни во мне.

Боль от услышанного вызвала в ней новую вспышку гнева, и она прогнала его прочь бурным потоком мстительных клятв – что он никогда не увидит сына, что, если он не сгинет навеки, она расскажет судье, что это он ударил ее, а какой английский судья не поверит ей, если речь идет о французе? – так что лучше пускай он уматывает из этой страны ко всем чертям, иначе она добьется его ареста.

Наконец он поверил ей. И ушел.

А когда родился их сын, она назвала его именем любимого дядюшки Генри, уже покойного, как они однажды вместе и решили. Да, имя это она тут же сократила до «Джей-Пи», но тем не менее. Даже теперь она разговаривала с сыном и по-английски, и по-французски, следя за тем, чтобы он не забывал языка и мог свободно общаться с отцом. Генри был любовью всей ее жизни, и этого она никогда не смогла бы простить ему. А может, самой себе.

Время от времени он звонил, и от звука его голоса на нее наваливалась такая тоска, что она врубала телик, пока он говорил с Джей-Пи, отвечавшим на все вопросы в трубке одним осторожным «Oui?».

– Послушайте, – сказала Аманда, бросив вилку обратно в контейнер с салатом и сглотив подступившие слезы. – Простите меня за то, что я сказала про всех этих животных, погибших на войне. Простите, что материлась. Простите, что я вечно все говню, ладно? Не нужно увеличивать наказание!

В глазах Мэй вроде бы промелькнуло удивление и довольно искреннее сочувствие, но Рэйчел обрушилась первой.

– Дело не в Мемориале? – сказала она. – А похоже, в твоей вопиющей несдержанности?

Аманда, ожидавшая – и глупо, как выяснилось, – спешных заверений в том, что ей не за что извиняться, рассвирепела пуще прежнего.

– Мой дедушка Джо потерял во Вьетнаме ногу, – сказала она. – А когда вернулся в инвалидном кресле, Союз ветеранов войны наплевал на него с высокой колокольни. Так что вы уж простите, если я считаю, что памятник погибшему голубю – дурной вкус.

– Ого, – прошептала Мэй. – Твой дед воевал во Вьетнаме?!

– Это просто не может быть правдой, – еще жестче сказала Рэйчел.

Аманда застыла. Да, это было не совсем правдой. Дедуля Джо не попал под призыв и погиб на стройке, когда какой-то рабочий по ошибке перерубил ему лопатой бедренную артерию. Она почти физически ощущала, что ложь о нем сильно портит ей карму. Но не соврать не могла.

– Он убил хоть одного вьетнамца? – спросила Мэй неожиданно серьезным тоном, на какой переходила всегда, стоило кому-либо в зоне слышимости ляпнуть что-нибудь неуважительное про азиатов.

Рэйчел презрительно фыркнула:

– Британские солдаты не участвовали в боевых действиях? То ли дело австралийцы. Мой папаша...

– Мой дед был американцем, – сказала Аманда, потому что хотя бы в этом ей не приходилось врать.

Мэй посмотрела на Рэйчел:

– Это правда?

– По матери? – уточнила Рэйчел, сбита с толку в той же степени, что и Аманда.

– Я про деда, – сказала Аманда. – Мой дед – американец.
– А вот и нет! – засмеялась Рэйчел. – Твой отец британец? Я же встречала его? И даже не раз? Ты такая врушка, Аманда. Это так неразумно? И совсем не смешно?

– Ну, извини, – сказала Аманда. – Мне кажется, я знаю, откуда родом мой отец.

– Да как угодно! – Рэйчел хмыкнула и отхлебнула кофе.

– Может, ты имеешь в виду своего отчима? – спросила Мэй, явно волнуясь, не слишком ли они жестоки.

– Отчим тоже американец, – нахмурилась Аманда. – Мамаша всегда выбирает один и тот же типаж.

И в этом опять соврала. Да, Хэнк американец, но огромный, сильный и черный. И не мог бы отличаться от Джорджа еще сильнее, даже если бы Джордж был женщиной.

– Моя мать – британка, но отец – точно американец.

Рэйчел лишь задрала брови и перевела взгляд обратно на мистера Три Часа.

– Не веришь мне – спроси у его новой подружки, – добавила Аманда уже спокойно, решив больше не спорить.

– У его новой подружки? – на удивление резко переспросила Рэйчел.

– У него любовница? – уточнила Мэй и оставила рот открытым. – В его-то годы?

– Ему сорок восемь, – сказала Аманда. – Запросто мог бы закрутить даже с любой из вас.

– Фу-у? – скривилась Рэйчел. – Не юродствуй, а? – Она выловила очередную оливку из пасты. – Ну, и что за девица? Она станет теперь твоей мачехой?

Это Аманда и сама хотела бы знать. На этой неделе Джордж вел себя еще рассеянней, чем обычно. Сначала позвонил ей, чтобы рассказать историю, которая плохо уложилась у нее в голове, что-то о птице, приземлившейся в его саду, а потом улетевшей; Аманда почти убедила его, что все это ему приснилось, но сегодня утром он позвонил снова и объявил, что встречается с женщиной, которая недавно забрела к нему в студию. При этом он был таким искренним и таким уязвимым, что от беспокойства за то, что должно случиться – ведь это Джордж, как ни крути, – ей стало немного не по себе.

– Ну, мачехой вряд ли, – сказала Аманда. – Пока они встречались всего пару раз, и я ее даже в глаза не видела. Знаю только, что зовут Кумико и что...

– Кумико? – повторила Рэйчел. – Что еще за имечко?

– Японское, – вставила Мэй, сверкнув глазами, как лазерами. – Самое обычное имя.

– Я пока не уверена, но, судя по его рассказам, очень милая женщина.

– Ну, какой же еще ей быть, если она связалась с твоим якобы американским папашей? – съязвила Рэйчел и допила остатки вина.

«Что ты этим хочешь сказать?» – хотела спросить Аманда, но не успела произнести «Что ты этим...», как получила футбольным мячом по затылку – с такой силой, что повалилась вперед и едва не вписалась носом в корзинку для пикника.

– Прощу прощения! – крикнул мистер Три Часа, ловко наклоняясь и подбирая мяч с травы.

– Какого черта?! – закричала Аманда, прижимая ладонь к затылку, да так и застыла, увидев, как Рэйчел расхохоталась в своей самой соблазнительной манере – дрыгая сиськами так, словно предлагает себя.

– Не бери в голову? – сказала Рэйчел. – Она это заслужила. Меньше будет чертыхаться! Мистер Три Часа рассмеялся и отвел назад упавшие на глаза белокурые локоны:

– А у вас чисто дамский пикник или всяких подонков тоже пускают?

– Подонки приветствуются, – ответила Рэйчел. – Хочешь кальмаров? Только что из «Маркса и Спенсера».

– Почему бы и нет? – И парень шмякнулся на траву рядом с Аmandой так небрежно, что задел ее бумажный стаканчик с колой, и тот улетел в траву.

Извиняться он даже не подумал. Рэйчел уже накладывала ему кальмаров на салфетку. Аманда все еще массировала затылок.

– Масло будешь, оливковое? – бесстрастно предложила она.

– С удовольствием! – ответил он, даже не взглянув в ее сторону.

Осторожным движением она извлекла из корзинки бутылку и передала ему с ангельской невинностью на лице:

– Лучше взболтай сперва.

Так он и сделал.

– Глазам не верю... – только и выдавила Мэй.

* * *

Взять в руки бритву и взрезать ею страницу книги всегда казалось Джорджу нарушением табу, попранием всего, что было ему дорого и свято, и каждый раз, когда ему приходилось заниматься подобным варварством, он ловил себя на мысли, что не удивился бы, полейся из этих страниц настоящая кровь.

Бумажные книги он любил с той же страстью, какую другие питают к лошадям, вину или прогрессивному року. К электронным книгам он так и не привык, ибо в них книга сокращалась до размеров компьютерного файла, а компьютерный файл – продукт для временного использования, и к тому же никогда не принадлежит тебе одному. У Джорджа не осталось ни одного электронного письма десятилетней давности, зато сохранились все книги, которые он тогда покупал. Да и вообще, разве можно придумать объект совершеннее, чем бумажная книга? Все эти кусочки бумаги – такие разные, гладкие или шершавые, под кончиками твоих пальцев. Край страницы, прижатый большим пальцем, когда так не терпится перейти к новой главе. То, как твоя закладка – причудливая, скромная, картонка, конфетный фантик – движется сквозь толщу повествования, отмечая, насколько ты преуспел, дальше и дальше всякий раз, когда закрываешь книгу.

А как они смотрятся на стенах! Выстроенные под любую прихоть. Прихоть Джорджа была простой – по авторам, с соблюдением хронологии, хотя со временем он стал выстраивать их и по толщине, а также по теме и особенностям переплета. Все они стояли на его полках, слишком много – и всегда недостаточно. Все эти истории, рассказанные разными авторами: Доротея Брук, никак не находящая себе верного мужа, дождь из цветов, навеки застревающий в похоронах Хосе Аркадио Буэндиа, и бесконечный теннис, в который играет, не помня себя, Хол Инкаденца на полях Энфилда.

Однажды он наблюдал, как тибетские монахи ваяли песчаные мандалы. Невероятно прекрасные создания, некоторые всего в метр диаметром, другие – размером с комнату. Разноцветный песок скрупулезно выдувался монахами через трубочки, похожие на соломинки, слой за слоем, неделю за неделей, и так до самого завершения. После чего, согласно канонам буддийского материализма, мандалы подлежали уничтожению, но Джордж предпочел эту часть пропустить.

Больше всего его заинтересовало то, что мандала – если только он не ошибся, а это вполне возможно – отражала внутреннее состояние монаха. Его скрытое бытие – видимо, обретшее покой, – принявшее идеальную и недолговечную форму. Душа – как картина.

Книги на стенах Джорджа были его песчаной мандалой. Когда каждая стояла на своем месте, когда он мог провести рукой по их корешкам-позвоночникам, выбирая одну, чтобы прочесть или перечитать, все они являли собой отражение его внутреннего состояния. Или,

по крайней мере, того состояния, к которому он хотел бы прийти. Как и те монахи, если хорошенько подумать.

Поэтому, когда он совершил свое первое надругательство над страницей, когда вторгся бритвой в потрепанный покетбук, найденный среди мусора на задворках студии, он показался себе неуклюжим олухом, наступившим на мандалу. Кошунство. Святотатство. Попрание сакрала. Или, может, высвобождение его?

Так или иначе, это оказалось... интересно.

Никогда раньше Джордж не считал себя художником, да не считал и теперь, но рисовальщиком он все же был неплохим. Мог набросать довольно похоже чье-нибудь лицо, хотя руки давались хуже – но кому вообще хорошо давались руки, кроме Джона Сингера Сарджента? – и какое-то время назад, еще в колледже, даже рисовал углем обнаженную Клэр – то расслабленную на подушках, то пытающуюся удержать на голове плюмаж из перьев, откопанный ею бог знает где. Сеансы эти, разумеется, были неплохими прелюдиями к сексу, а также символизировали их скорый брак, поскольку она не совсем верно поняла, с кем на самом деле связалась.

– Это даже не очень плохо, – говорила Клэр, мельком глядя на мольберт и стягивая с Джорджа майку.

И наступало время расслабления и радости и очень правильных удовольствий.

Рисование он не бросил и после женитьбы – даже после того, как открыл свою типографскую студию, а Клэр начала подниматься по карьерной лестнице в должности юрисконсульта (когда-нибудь она станет судьей, они даже не сомневались в этом), но, несмотря на все трогательные и вдохновляющие слова Клэр, несмотря на все ее надежды, настоящего художника из него так и не вышло. Он остался просто рисовальщиком. наброски обнаженной натуры углем он делал все реже, плюмаж затерялся неведомо где, а размеренные полуденные часы все чаще отводились сну.

Хэнк, новый муж Клэр, управлял огромным отелем, собственностью какого-то американского конгломерата. Рисовал ли он тоже, Джордж понятия не имел.

Рисовал Джордж и после развода – то просто набрасывал что-то, болтая с кем-нибудь по телефону, а то доставал из запасника в студии шершавую бумагу и прикипал взглядом к какой-нибудь кроне дерева, пропускавшей солнечные лучи, или скамейке в дождливом парке, или паре безобразных туфель, оставленных когда-то Мехметом после неудачной пробы на роль в спектакле «Король-Лев». Вот и все, и ничего серьезнее. Ничего, кроме карандашных линий, иногда чернил, но теперь уже никакого угля...

Пока не наткнулся на эту книгу. А ведь мог бы и не заметить. Она завалилась между мусорными баками, и он заметил ее, лишь когда собирал остатки выкинутого завтрака, разбросанные удачливым голубем чуть не по всей аллее. Это был Джон Апдайк, которого он не читал (он вообще никогда не читал Апдайка), роман под названием «Красота лилий». Он забрал книгу в дом – изувеченную, полуразвалившуюся – и пролистал потрепанные страницы. Многие страницы слиплись от дождя, и лишь полкниги было еще читабельно.

Внезапно его охватило желание нарисовать что-нибудь на странице. Жизнь этой книги кончилась, читать ее уже никто бы и не подумал, а вот порисовать в ней вдруг показалось ему не только вандализмом, но и (что, кстати, даже очень правильно) достойным способом проводить несчастную в мир иной – примерно как кладут монетки на веки усопших перед погребением. Он занес карандаш над полупустой страницей – и остановился.

Бритва будет уместней.

Даже не задумываясь почему, он порылся в ящике стола и нашел бритву, которой затачивал или расщеплял что-нибудь всякий раз, когда работа требовала физического вмешательства, что случалось все реже в нынешнюю эпоху компьютерного дизайна, которой он

не противился, ибо компьютер работал все же быстрее и высвобождал ему время для всякой необязательной ерунды и досужих мечтаний.

С лезвием в пальцах он вернулся к книге, оставленной на конторке.

Стояло воскресное утро. Пора было открывать студию, но вместо этого он вонзил в страницу книги лезвие бритвы. С судорожным вздохом – и почти ожидая такого же вздоха от книги. И хотя она не стала вздыхать, после первого надреза он замер, уставившись на то, что натворил.

А потом сделал это еще раз.

Он все резал и резал ее – на маленькие, на большие полоски, вырезая углы, закручивая изгибы, кромсая, кромсая еще и еще, пока не приспособился к сопротивляющейся бумаге. Желаемые надрезы получались плохо, и он кромсал дальше, внутрь и внутрь слов Джона Апдайка (мельком читая некоторые отрывки, когда останавливался передохнуть – параграфы с потрясающим количеством точек с запятой, в которых ничего особенного не происходило).

Оторвавшись на минуту, он все-таки открыл студию, чтобы оставить посетителей на волю Мехмета, а сам сосредоточился на вырезании – с силой, которая поражала его самого, – и час таял за часом, чего давно уже не бывало. Он не вполне понимал, что именно вырезает, но когда перевалило за полдень и Мехмет засобирался домой, чтобы успеть прожечь субботний вечер где-то в городе, у Джорджа наконец-то начали получаться самые удачные надрезы, и до него впервые дошло, чего именно хочет его подсознание. Он даже не стал складывать отдельные кусочки в трехмерную форму – оставил их лежать на странице как есть, растерзанные слова и кусочки слов смотрели на него так, словно там, внутри книги, из них сложился отдельный, самостоятельный мир.

– Лилия, – сказал Мехмет, пробегая мимо за курткой.

– Что? – удивился Джордж, с трудом вспоминая, где он.

– Это похоже на лилию, – медленно, словно разговаривая с пациентом в коме, ответил Мехмет. – Любимый цветок моей мамы. А это говорит о ней очень много. Сладко пахнет и повсюду оставляет пятна.

Набросив куртку на плечи, Мехмет ушел, а Джордж еще долго сидел и разглядывал, что сотворил.

Лилия. И правда лилия. Из книги под названием «Красота лилий».

Он засмеялся, несколько задетый этой банальностью – да, именно эта предсказуемость всю жизнь и мешала ему стать настоящим художником, – и уже протянул руку, чтобы выкинуть свое творение в мусорное ведро.

Но остановился. Эта лилия получилась действительно здорово.

Тут-то все и началось. Он стал охотиться за уцененными до одного фунта книгами у букинистов, откапывая только самые изувеченные, нелюбимые и никем не читаемые экземпляры. И хотя совсем не стремился вырезать из них что-либо конкретное, поскольку надеялся избежать повторения истории с коварной лилией, иногда какая-нибудь строчка из шестидесятилетней давности, полузаплесневелого издания Агаты Кристи, будила его воображение, и он мог выстрогать покрытую параграфом изогнутую руку, чьи пальцы постепенно перетекали в предложение-сигарету. Или в формате хайку выложить из букв горизонт с тремя лунами из фантастического романа, о котором никогда в жизни не слышал. Или изваять одинокую фигурку с младенцем на руках, на котором значилась единственная цифра «1» от заголовка «Часть 1» из истории Ленинградской блокады.

Результаты своих стараний он показывал только Аманде; Мехмет тоже видел их, поскольку работал с ним в студии, но слово «показывать» в этом случае было неприменимо; она же отзывалась о них учтиво, от чего он, конечно, приходил в уныние, но увлечения не бросал. Экспериментировал с клеем, закрепляя уже вырезанные фигурки на том

или ином фоне, под стеклом или без, в рамках или без, с контуром, без контура, маленькие, большие. Иногда пробовал создать какой-нибудь силуэт одним-единственным долгим разрезом и однажды даже получил таким способом почти совершенную розу (как и пресловутая лилия, она появилась на свет благодаря заголовку полуразвалившейся книги – «Дикой розы» Айрис Мёрдок), хотя куда чаще дело заканчивалось какими-нибудь гусеподобными журавлями, одного из которых и увидел случайно Мехмет.

Особых надежд касательно своих творений он не питал: не считал их достаточно ценными, чтобы выставлять на публике, но испытание временем они все-таки выдержали. Они заставляли его руки работать, а порой и озадачивали его самого, когда он даже не знал, что получит в итоге – это оставалось тайной до тех пор, пока отдельные элементы не собирались вместе на общем фоне. Он завершал их так или эдак и хранил на складе в дальнем углу, куда Мехмет великодушно предпочитал не заглядывать.

Они были его забавой, хотя иногда и чуть более того, но, как правило, безделицами, в чем он и сам бы признался, спроси его об этом, – да, безделицами и не более.

Вплоть до того самого дня, когда появилась Кумико. Появилась – и изменила все, что только могла.

В руке она держала саквояж, совсем небольшой, из тех, с какими – а мозг подсказал этот образ так быстро, что он сам смутился, – разгуливала по вокзалу героиня какого-нибудь кинофильма 40-х: чуть крупнее коробки из-под обуви, явно пустой, чтоб актриса не утомилась держать его в своей изящной ручке в белоснежной перчатке. При этом именно саквояж, а не портфель и не сумка. Роста она была ниже среднего, хотя и не слишком низенькая; длинные темные волосы каскадом спускались на плечи, а светло-карие глаза, не мигая, смотрели на него. Определить, откуда она родом, он навскидку не смог бы. Одета в простое белое платье – одного цвета с плащом, перекинутым через свободную руку, – отчего еще больше напоминала героиню 40-х. И наконец, ее голову венчала красная шляпка – анахронизм, который лишь довершал полноту картины.

Возраст ее вычислить было так же непросто, как и национальность. Но вроде моложе его. Лет сорок пять? Но, едва взглянув на нее, он тут же лишился дара речи: в ее осанке, в подчеркнутой простоте ее платья, в неотрывно следящих за ним глазах было нечто такое, из-за чего вся ее фигурка казалась словно выпавшей сюда из иного времени – влиятельная землевладелица времен какой-нибудь из шотландских войн, французская дофина, отправленная в пампасы Южной Америки, терпеливая служанка особо капризной богини...

Затем он моргнул, и она снова превратилась в обычную женщину. В простом белом платье. В шляпке, которая казалась как устаревшей лет сто назад, так и последним криком моды одновременно.

– Чем могу?.. – наконец выдавил он.

– Зовите меня Кумико, – сказала она.

За все время существования студии (а это ни много ни мало двадцать один год) ни один заказчик маек, гравюр или эстампов еще не начинал разговор с таких слов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.